

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

5

Алессандро
Мандзони

ОБРУЧЕННЫЕ

АБЗУКА



Мир приключений. Большие книги

Алессандро Мандзони

Обрученные

«Азбука»

1827

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ита)-44

Мандзони А.

Обрученные / А. Мандзони — «Азбука», 1827 — (Мир приключений. Большие книги)

ISBN 978-5-389-30697-4

Под щедрым солнцем Ломбардии расцветает любовь юной пары – Ренцо и Лючии. Уже назначен день свадьбы, но, на свою беду, девушка приглянулась знатному кавалеру, дону Родриго. Запуганный самоуправным феодалом деревенский падре начинает юлить, отказываясь венчать обрученных. Стремление влюбленных жить в законном браке вопреки абсурдным возражениям падре приводит к череде событий, которые начинаются в стиле комедии дель арте и разворачиваются на фоне масштабной исторической панорамы итальянской жизни семнадцатого века со всеми ее потрясениями, включая войну, чуму и голод. Роман Алессандро Мандзони по праву считается не только бессмертной классикой итальянской литературы и базовым произведением в становлении современного итальянского языка, но и символом Рисорджименто – национального движения за освобождение Италии от иноземного владычества. Однако главное достоинство этого яркого, насыщенного сюжетными линиями и персонажами повествования в убедительном торжестве простой и чистой любви, которую не могут затоптать даже всадники Апокалипсиса.

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-389-30697-4

© Мандзони А., 1827

© Азбука, 1827

Содержание

Введение	9
Глава первая	13
Глава вторая	32
Глава третья	45
Глава четвертая	60
Глава пятая	73
Глава шестая	88
Глава седьмая	102
Глава восьмая	119
Глава девятая	139
Глава десятая	156
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Алессандро Мандзони Обрученные

© Издание на русском языке, оформление

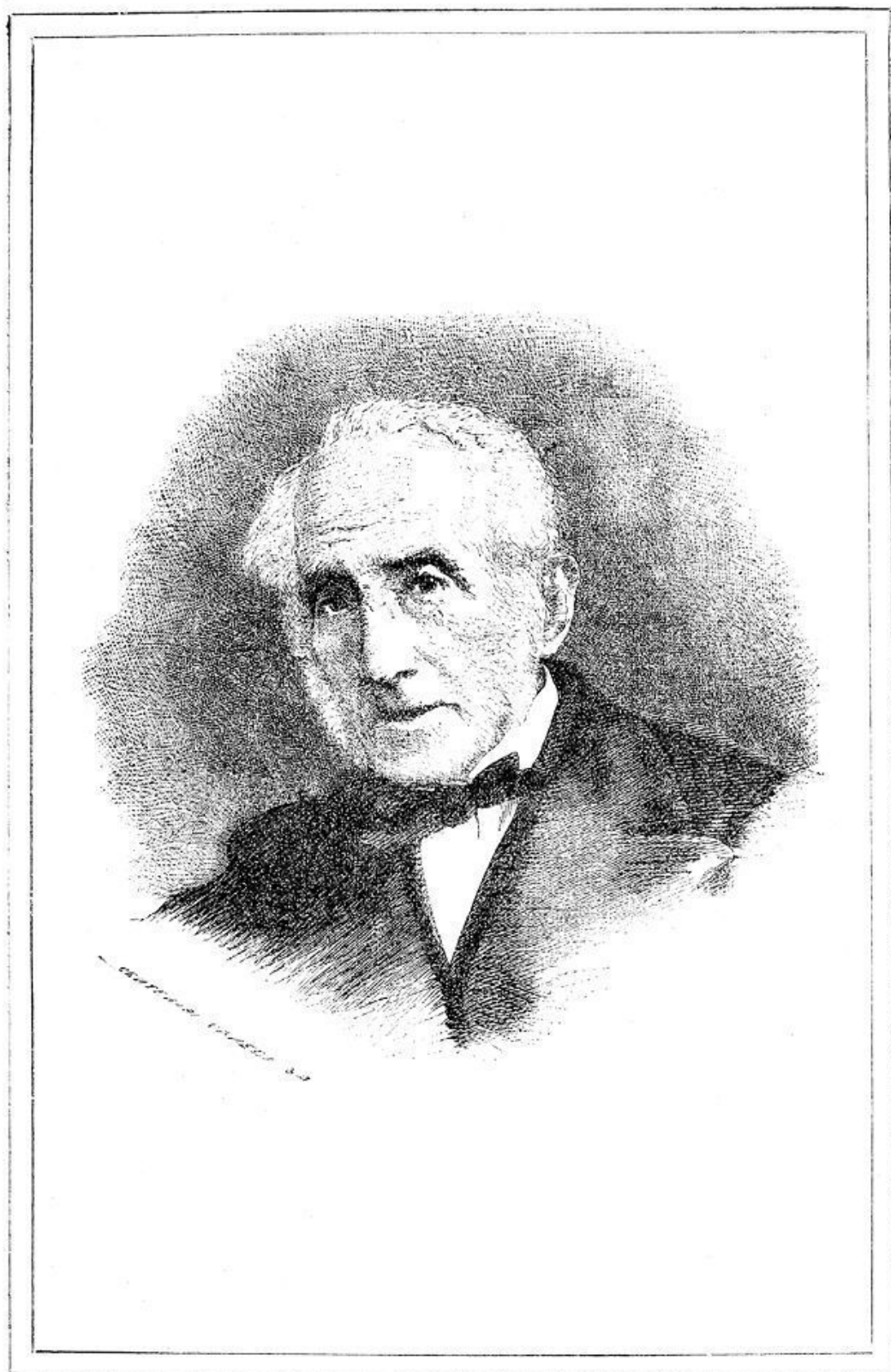
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

Издательство Азбука®



МИР
ПРИКЛЮЧЕНИЙ







Санкт-Петербург

Введение



История может, поистине, быть определена как славная война со Временем, ибо, отбирая у него из рук годы, взятые им в плен и даже успевшие стать трупами, она возвращает их к жизни, делает им смотр и заново строит к бою. Но славные Бойцы, пожинающие на этом Поприще обильные жатвы Пальм и Лавров, похищают лишь наиболее роскошную и блестящую добычу, превознося благоуханием своих чернил Подвиги Государей и Властителей, а также и выдающихся Особ, и навивая тончайшею иглою своего ума золотые и шелковые нити, из которых образуется нескончаемый узор достославных Деяний. Однако ничтожеству моему не подобает подниматься до таких предметов и до столь опасных высот, равно как пускаться в Лабиринты Политических козней и внимать воинственному грому Меди; наоборот, ознакомившись с достопамятными происшествиями, хотя они и при-

ключились с людьми худородными и незначительными, я собираюсь оставить о них память Потомкам, сделав обо всем откровенное и достоверное Повествование или, точнее, – Сообщение. В нем, на тесном Театре, предстанут горестные Трагедии ужасов и Сцены неслыханного злодейства, перемежаемые доблестными Деяниями и ангельской добротой, которые противостоят дьявольским ухищрениям. И действительно, принимая во внимание, что эти наши страны находятся под владычеством Синьора нашего, Короля Католического, который есть Солнце, никогда не заходящее, а над ним отраженным Светом, подобно Луне, никогда не убывающей, сияет Герой благородного Семени, временно правящий вместо него, равно как Блистательнейшие Сенаторы, неизменные Светила, – и прочие Уважаемые Магистраты, – блуждающие планеты, проливают свет свой повсеместно, образуя тем самым благороднейшее Небо, нельзя – при виде превращения его в ад кромешных деяний, коварства и свирепостей, во множестве творимых дерзкими людьми, – видеть тому какую-либо иную причину, кроме ухищрений и козней дьявольских, поскольку одного человеческого коварства не хватило бы для сопротивления такому количеству Героев, которые, с очами Аргуса и руками Бриарея, отдают жизнь свою на общее благо. А посему, рассказывая о событиях, происшедших во времена цветущего моего возраста, и хотя большинство лиц, действующих в них, уже исчезли с Арены жизни и сделались данниками Парок, я тем не менее, в силу почтительного уважения к ним, не буду называть их имен, то есть имен родовых; равным образом поступлю я так и с местом действия, наименование коего я не буду обозначать. И никто не сочтет это несовершенством Повествования и нестройностью моего незатейливого Творения, разве только Критик окажется лицом совершенно неискушенным в философии, тогда как люди в ней сведущие отлично поймут, что сущность названной Повести нисколько от этого не пострадала. Ведь совершенно очевидно и никем не может быть отрицаемо, что имена являются не более как чистейшими акциденциями...

– Но когда я одолею героический труд переписывания этой истории с выцветшей и полной помарок рукописи и когда я, как это принято говорить, выпущу ее в свет, найдется ли тогда охотник одолеть труд ее прочтения?

Это размышление, наводящее на сомнение и зародившееся при работе над разбором каракуль, следовавших за акциденциями, заставило меня прервать переписывание и основательнее поразмыслить о том, как мне поступить.

– Совершенно верно, – говорил я самому себе, перелистывая рукопись, – совершенно верно, что такой поток словесной мишуры и риторических фигур встречается не на всем протяжении этого произведения. Как настоящий сечентист, автор вначале захотел щегольнуть своею ученостью, но затем, в ходе повествования, порою на большом его протяжении, слог становится более естественным и более ровным. Да, – но как он зауражен! Как неуклюж! Как шероховат!.. Ломбардские идиомы – без числа, фразы – некстати употребленные, грамматика – произвольная, периоды – неслаженные. А далее – изысканные испанизмы, рассеянные тут и там; потом, что гораздо хуже, – в самых ужасающих и трогательных местах, при любой возможности вызвать изумление или навести читателя на размышление, – словом, во всех тех местах, где требуется некоторое количество риторики, но риторики скромной, тонкой, изящной, автор никогда не упускает случая напичкать изложение той самой своей риторикой, которая нам уже знакома по вступлению. Перемешивая с удивительной ловкостью самые противоположные свойства, он ухитряется на одной и той же странице, в одном и том же периоде, в одном и том же выражении одновременно быть и грубым, и жеманным. Не угодно ли: напыщенная декламация, испещренная грубыми грамматическими ошибками, повсюду претенциозная тяжеловатость, которая придает особый характер писаниям данного века в данной стране. Поистине, это – не такая вещь, чтобы стоило предлагать ее вниманию нынешних читателей: слишком они придирчивы, слишком отвыкли от подобного рода причуд. Хорошо еще, что правильная

мысль пришла мне в голову в самом начале злополучного этого труда, – тем самым я просто умываю руки.

Однако, когда я собирался было сложить эту потрепанную тетрадь, дабы спрятать ее, мне вдруг стало жалко, что такая прекрасная повесть навсегда останется неизвестной, ибо как повесть (читатель, может быть, не разделит моего взгляда) она мне, повторяю, показалась прекрасной, и даже весьма прекрасной. «Почему бы, – подумал я, – не взять из этой рукописи всю цепь происшествий, лишь переработав ее слог?» Так как никакого разумного возражения на это не последовало, то и решение было принято немедленно. Таково происхождение этой книги, изложенное с чистосердечием, достойным самого повествования.

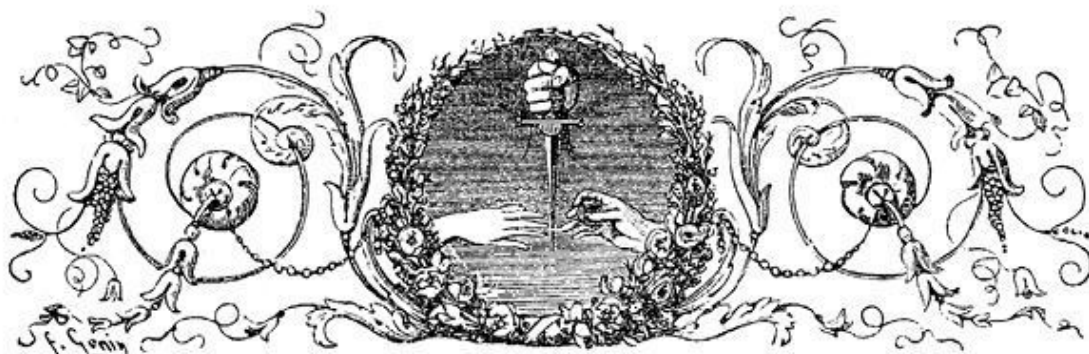
Однако кое-какие из этих событий, некоторые обычаи, описанные нашим автором, показались нам настолько новыми, настолько странными – чтобы не сказать больше, – что мы, прежде чем им поверить, пожелали допросить других свидетелей и принялись с этой целью рыться в тогдашних мемуарах, дабы выяснить, правда ли, что в ту пору так жилось на белом свете. Такие розыски рассеяли все наши сомнения: на каждом шагу наталкивались мы на такие же и даже более удивительные случаи, и (что показалось нам особенно убедительным) мы добрались даже до некоторых личностей, относительно которых не было никаких сведений, кроме как в нашей рукописи, а потому мы усомнились было в реальности их существования. При случае мы приведем некоторые из этих свидетельств, чтобы подтвердить достоверность обстоятельств, которым, в силу их необычайности, читатель был бы склонен не поверить.

Но, отвергая слог нашего автора как неприемлемый, каким же слогом мы заменим его? В этом весь вопрос.

Всякий, кто, никем не прощенный, берется за переделку чужого труда, тем самым ставит себя перед необходимостью отчитаться в своем собственном труде и до известной степени берет на себя обязательство сделать это. Таковы правила житейские и юридические, и от них мы вовсе не собираемся уклоняться. Наоборот, охотно принаравливаясь к ним, мы собирались было дать здесь подробнейшее объяснение принятой нами манере изложения, и с этой целью на всем протяжении нашего труда мы неизменно старались предусмотреть возможные и случайные критические замечания, дабы заранее и полностью все их опровергнуть. И не в этом было бы затруднение, ибо (мы должны сказать это, воздавая должное правде) нашему уму не представилось ни одного критического замечания, без того чтобы тут же не явилось и победоносное возражение из числа тех, которые не скажу – решают вопросы, но меняют самую их постановку. Часто мы даже сталкивали две критики между собой, заставляли одну побивать другую; либо же, исследуя их до основания и внимательно сопоставляя, нам удавалось обнаружить и показать, что при всей своей кажущейся разнице они тем не менее почти однородны и обе родились из недостаточно внимательного отношения к фактам и принципам, на которых должно было основываться суждение; так сочетав их, к великому их изумлению, мы пускали обе дружески разгуливать по свету. Вряд ли нашелся бы автор, который столь очевидным способом доказал бы доброкачественность своей работы. Но что же? Когда мы пришли к возможности охватить все упомянутые возражения и ответы и расположить их в известном порядке, – увы, их набралось на целую книгу. Видя это, мы отказались от начального замысла по двум соображениям, которые читатель, несомненно, сочтет основательными: одно из них – то, что книга, предназначенная оправдывать другую и даже, в сущности, слог другой книги, могла бы показаться смешной; другое – то, что на первый раз хватит и одной книги, если только вообще и сама она не лишняя.



Глава первая



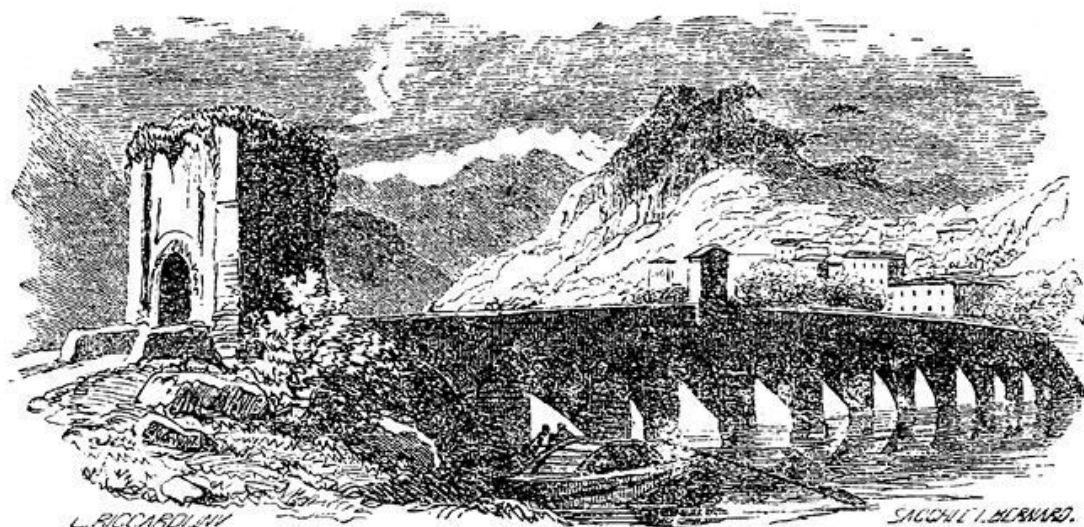
Тот рукав озера Комо, который тянется к югу между двумя непрерывными цепями гор, образующих, то выдвигаясь, то отступая, множество бухт и заливов, вдруг как-то сразу суживается, принимает вид реки и несет свои воды между высоким мысом с правой стороны и обширным низменным побережьем с левой; и мост, соединяющий в этом месте оба берега, делает это превращение еще более ощутимым для глаза, словно отмечая то место, где кончается озеро и где снова начинается Адда, дабы дальше опять превратиться в озеро там, где берега, вновь расступаясь, дают воде свободно и медленно растекаться, образуя новые заливы и новые бухты. Побережье, образованное наносами трех мощных потоков, постепенно поднимается, примыкая к двум смежным горам: одна именуется Сан-Мартино, другая на ломбардском наречии – *Резегоне* (Большая Пила), по многочисленным и вытянутым в ряд зубцам, которые придают ей

сходство с пилой, так что всякий при первом же взгляде на нее (только непременно спереди – например, со стен Милана, обращенных к северу) быстро распознает ее по этому признаку в длинной и обширной цепи гор с менее известными наименованиями и менее своеобразным видом.

Берег на изрядном протяжении поднимается со слабым и непрерывным уклоном; дальше он пересекается холмами и долинами, кручами и ровными площадками, в зависимости от строения обеих гор и работы вод. Нижний край берега, прорезанный устьями потоков, представляет собою почти сплошной гравий и булыжник; а затем идут поля и виноградники с разбросанными среди них усадьбами, селениями, деревушками; кое-где – леса, взбирающиеся высоко по горам.

Лекко, главное среди этих селений, дающее имя всей местности, лежит неподалеку от моста, на берегу озера; случилось ему частично очутиться и в самом озере, когда вода в последнем прибывала. В наши дни это крупное местечко, собирающееся стать городом. В те времена, когда разыгрались события, о которых мы хотим рассказать, это местечко, уже довольно значительное, служило также и крепостью и потому имело честь быть местопребыванием коменданта и пользовалось привилегией содержать в своих стенах постоянный гарнизон испанских солдат, которые обучали местных девушек и женщин скромному поведению, время от времени гладили спину кое-кому из мужей и отцов, а к концу лета никогда не упускали случая рассеяться по виноградникам, чтобы несколько пощипать виноград и тем облегчить крестьянам тяжесть уборки.

От одной деревни к другой, с горных высот к берегу, с холма на холм вились тогда, да и поныне выются, дороги и тропинки, более или менее крутые, а иногда и пологие; они то исчезают и углубляются, зажатые нависшими скалами, откуда, подняв глаза, можно видеть лишь полоску неба да какую-нибудь верхушку горы, то пролегают на высоких открытых равнинах, и отсюда взор охватывает более или менее далекие пространства, всегда разнообразные и всегда чем-нибудь новые, в зависимости от более или менее широкого охвата окружающей местности с различных точек, а также и от того, как та или иная картина разворачивается или замыкается, выступает вперед или исчезает совсем. Порой показывается то один, то другой кусок, а иногда и обширная гладь этого огромного и многообразного водного зеркала: тут – озеро, замкнутое на горизонте или, лучше сказать, теряющееся в нагромождении гор, а потом постепенно расширяющееся между другими горами, которые одна за другой открываются взору, отражаясь в воде в перевернутом виде со всеми прибрежными деревушками; там – рукав реки, потом озеро, потом опять река, сверкающими излучинами исчезающая в горах, которые следуют за ней, постепенно понижаясь и тоже как бы исчезающая на горизонте. И место, откуда вы созерцаете эти разнообразные картины, само по себе, куда бы вы ни глянули, является картиной: гора, по склонам которой вы совершаете путь, разворачивает над вами, вокруг вас свои вершины и обрывы, четкие, рельефные, меняющиеся чуть не на каждом шагу, причем то, что сначала казалось вам сплошным горным кряжем, неожиданно распадается и выступают отдельные цепи гор, и то, что представлялось вам только что на склоне, вдруг оказывается на вершине. Приветливый, гостеприимный вид этих склонов приятно смягчает дикость и еще более оттеняет великолепие остальных видов.



По одной из этих тропинок 7 ноября 1628 года, под вечер, возвращаясь домой с прогулки, неторопливо шел дон Абондио, священник одной из вышеупомянутых деревень: ни ее название, ни фамилия данного лица не упомянуты ни здесь, ни в других местах рукописи. Священник безмятежно читал про себя молитвы; временами – между двумя псалмами – он закрывал молитвенник, закладывая страницу указательным пальцем правой руки, затем, заложив руки за спину, шел дальше, глядя в землю и отшвыривая к ограде попадавшие под ноги камешки, потом поднимал голову и, спокойно оглядевшись вокруг, устремлял взор на ту часть горы, где свет уже закатившегося солнца, прорываясь в расщелины противоположной горы, широкими и неровными красными лоскутами ложился на выступающие скалы. Снова раскрыв молитвенник и прочитав еще отрывок, он дошел до поворота дороги, где обычно поднимал глаза от книги и глядел вдаль, – так поступил он и на этот раз. За поворотом дорога шла прямо шагов шестьдесят, а потом ижицей разделялась на две дорожки: одна, поднимаясь в гору, вела к его усадьбе; другая спускалась в долину к потоку, с этой стороны каменная ограда была лишь по пояс прохожему. Внутренние же ограждения обеих дорожек, вместо того чтобы сомкнуться под углом, завершались часовенкой, на которой были нарисованы какие-то длинные змееобразные фигуры, заострявшиеся кверху. По замыслу художника и по представлениям окрестных жителей, они означали языки пламени; с этими языками чередовались другие, уже не поддающиеся описанию фигуры, которые представляли души в чистилище, причем души и пламя были коричневого цвета на сероватом фоне облезшей там и сям штукатурки.

Повернув на дорожку и по привычке направив взор на часовенку, дон Абондио узрел нечто для себя неожиданное и что ему никак не хотелось бы видеть: двух человек, друг против друга, – так сказать, на перекрестке дорожек. Один из них сидел верхом на низкой ограде, свесив одну ногу наружу, а другой упираясь в землю; его товарищ стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Их одежда, повадка, выражение лиц, насколько можно было различить с того места, где находился дон Абондио, не оставляли сомнения насчет того, кем они были. На голове у каждого была зеленая сетка, большая кисть которой свешивалась на левое плечо, и из-под сетки выбивался на лоб огромный чуб, длинные усы закручены были шилом; к кожаному блестящему поясу была прикреплена пара пистолетов. Небольшая пороховница свешивалась на грудь наподобие ожерелья. Рукоятка кинжала торчала из кармана широчайших шароваров. Сабли с огромным резным бронзовым эфесом с замысловатыми знаками были начищены до блеска. Сразу видно было, что эти личности из породы так называемых *брави*.

Порода эта, ныне совершенно исчезнувшая, в те времена процветала в Ломбардии, и притом уже с давних пор. Для тех, кто не имеет о ней никакого понятия, приведем несколько

подлинных отрывков – они дадут достаточное представление об основных особенностях этих людей, об усилиях, прилагавшихся к их изничтожению, и об упорной живучести последних.



Еще 8 апреля 1583 года славнейший превосходительнейший синьор дон Карло Арагонский, князь Кастильветрано, герцог Террануовы, маркиз Аволы, граф Буржето, великий адмирал и великий коннетабль Сицилии, губернатор Милана и наместник его католического величества в Италии, *всемерно осведомленный о невыносимых тяготах, какие испытывал прежде и испытывает по сей день город Милан по причине бродяг и брави*, издает против них указ. *Объявляет и определяет, что действию данного указа подлежат и должны почитаться бродягами и брави... все пришлые, а равно и местные люди, не имеющие определенного занятия либо его имеющие, но ничего не делающие... но безвозмездно или хотя бы за жалованье состоящие при особе благородного звания либо при должностном лице или купце... дабы служить ему опорой и поддержкой либо, как можно предположить, дабы строить козни другим...* Всем таким лицам приказывает в шестидневный срок избавить означенную местность от своего присутствия, при этом неповинующимся грозит каторга, а всем судебным чинам предоставляются широчайшие и неограниченные полномочия для выполнения приказа. Однако 12 апреля следующего года, заметив, *что град сей тем не менее переполнен означенными брави... которые вернулись к прежнему своему образу жизни, ничуть не изменили своих привычек и не уба-*

вильсь в числе, упомянутый синьор издает новый приказ, еще более строгий и выразительный, в котором, наряду с другими распоряжениями, предписывает: чтобы каждое лицо, как из жителей сего города, так и пришлое, каковое по указаниям двух свидетелей явно окажется и вообще признано будет за браво и так будет называться, хотя бы и не было установлено за ним никакого преступления... в силу только таковой своей репутации, без всяких иных улик, может означенными судьями, а равно каждым из них в отдельности быть подвергнуто пытке в порядке предварительного допроса... и хотя бы таковое лицо не созналось ни в каком преступлении, пусть тем не менее оно отправлено будет на каторгу – на трехлетний срок за одну только репутацию и наименование браво, как выше указано. Все это, а равно и другое, что мы опускаем, предпринималось потому, что его превосходительство полно решимости добиться повинения от всякого.

Когда слышишь столь сильные и решительные слова такого вельможи, сопровождаемые подобными приказаниями, невольно хочется думать, что от одного грома их всякие бравы сгинут навсегда. Однако свидетельство другого вельможи, не менее авторитетного и не менее титулованного, заставляет нас прийти к заключению прямо противоположному. Вельможа этот – славнейший и превосходительнейший синьор Хуан Фернандес де Веласко, коннетабль Кастилии, обер-камергер его величества, герцог города Фриа и граф Гаро и Кастельнуово, синьор дома Веласко и дома Семерых инфантов Лары, губернатор государства Миланского и прочая и прочая, – 5 июня 1593 года, в свою очередь всемерно осведомившись, *сколь много ущерба и разорения приносят бравы и бродяги и сколь дурное действие этого рода люди оказывают на общественное благосостояние в ущерб правосудию, снова требует от них, чтобы они в шестидневный срок покинули страну, повторяя приблизительно те же предписания и угрозы своего предшественника. Затем 23 мая 1598 года, осведомившись с великим для себя неудовольствием, что... в означенном городе и в государстве количество помянутых лиц (бравы и бандитов) все возрастает и днем и ночью только и слышно, что они учиняют из засады ранения и убийства, а также хищения и всяческие другие преступления, каковым они предаются тем легче, что вполне могут положиться на поддержку своих главарей и пособников, вновь предписывает те же средства, усиливая дозировку, как это обычно делают при упорных болезнях. А посему пусть всякий остерегается нарушить в какой бы то ни было части означенный указ, иначе вместо благорасположения его превосходительства навлечет на себя его строгость и гнев... ибо его превосходительство твердо решил считать это увещание последним и окончательным.*



Этого мнения не разделял, однако, славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор дон Пьетро Энрикес де Асеведо, граф Фуэнтес, капитан и губернатор государства Миланского, – и не разделял он этого мнения по разумным основаниям. *Всемерно осведомившись о жалком положении, в каком живет упомянутый город и государство по причине огромного числа избыливающих в нем брави... и решив в корне истребить столь губительное племя, он издает 5 декабря 1600 года новый указ, в свою очередь наполненный строжайшими угрозами, с твердым намерением всемерного их выполнения по всей строгости и без малейшей надежды на снисхождение.*



Приходится, однако, думать, что он взялся за это дело далеко не с тем усердием, какое прилагал к тому, чтобы затевать козни и поднимать врагов на великого своего недруга, Генриха IV; история свидетельствует, как в данной области ему удалось вооружить против этого короля герцога Савойского, которого он и привел к потере более чем одного города, как успешно он заставил вступить в заговор герцога Бирона, который поплатился своей головой; что же касается столь зловредного племени брави, то несомненно одно: они продолжали плодиться. Так было еще 22 сентября 1612 года, когда славнейший и превосходительнейший вельможа, дон Джованни де Мендоса, маркиз Инохоза, кавалер и прочая, губернатор и прочая серьезно задумал истребить их. В этих видах он отправил королевским придворным печатникам, Пандольфо и Марко Туллио Малатести, обычный указ, исправленный и расширенный, дабы они отпечатали его на предмет полного истребления брави. Но последние продолжали действовать до получения 24 декабря 1618 года тех же и еще более сильных ударов от славнейшего и превосходительнейшего вельможи, синьора дона Гомеса Суареса де Фигуэроа, герцога Ферийского и прочая, губернатора и прочая... Однако и это не сжило их со света, а посему славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор Гонсало Фернандес ди Кордова, в правление которого произошла прогулка дона Абондио, оказался вынужденным еще раз подновить и еще раз обнародовать обычный указ против брави. Это было 5 октября 1627 года, то есть за год, месяц и два дня до достопамятного происшествия.

Однако и это обнародование не было последним; но мы не считаем себя обязанными упоминать о дальнейших, ибо они по времени выходят за пределы нашей истории. Отметим

лишь одно – от 13 февраля 1632 года, в котором славнейший и превосходительнейший синьор, герцог Ферийский, вторично назначенный губернатором, осведомляет нас, что *страшные злодеяния происходят от тех, кто именуется брави*. Это в достаточной мере подтверждает нам, что в то время, о котором идет речь, брави не переводились.

Что две вышеописанные личности стояли и ждали кого-то, было более чем очевидно; однако дону Абондио совсем не понравилось, когда он по некоторым их движениям догадался, что они поджидали именно его. Ибо при его появлении они переглянулись и подняли головы с таким видом, словно одновременно сказали друг другу: «Вот он». Сидевший верхом на ограде перекинул через нее ногу и встал на дороге, другой отделился от ограды, и оба пошли навстречу дону Абондио; а он, продолжая держать перед собой открытый молитвенник, делал вид, что читает его, сам же осторожно поднял глаза, чтобы следить за их движениями; и когда он увидел, что они идут прямо навстречу ему, тысяча соображений разом нахлынула на него. Он тут же спросил себя самого, нет ли между ним и брави какой-нибудь боковой дорожки вправо или влево, и сразу вспомнил, что нет. Он быстро перебрал в уме, не погрешил ли он в чем-либо против какого-нибудь сильного, какого-нибудь мстительного человека; но даже при всем волнении утешающий голос совести несколько успокоил его. А брави тем временем все приближались, зорко вглядываясь в него. Тогда он запустил указательный и средний пальцы за воротник, как бы оправляя его, и, обводя пальцами шею, вместе с тем повернул голову, заодно перекосив рот и стараясь хоть краешком глаза посмотреть, не идет ли кто-нибудь сзади, но никого не увидел. Он заглянул через ограду в открытое поле – никого; бросил более робкий взгляд вперед, на дорогу – никого, кроме брави. Что делать? Возвращаться назад было поздно; пуститься бежать значило бы то же, что сказать: «Ловите меня», – если не хуже. Не имея возможности уклониться от опасности, он бросился ей навстречу, ибо мгновения неизвестности стали для него так мучительны, что хотелось лишь одного – сократить их. Он ускорил шаг, погромче прочел один стих, постарался сделать возможно более спокойное и веселое лицо и приложил все усилия, чтобы приготовить улыбку; очутившись лицом к лицу с обоими молодцами, он мысленно сказал себе: «Ну, прямо в лапы», и решительно остановился.

– Что вам угодно? – быстро ответил дон Абондио, поднимая глаза от книги, которая так и осталась у него в руках раскрытой, словно на аналое.

– Вы намереваетесь, – подхватил другой с угрожающим и гневным видом человека, который поймал своего подчиненного при попытке совершить мошенничество, – вы намереваетесь завтра обвенчать Ренцо Трамальино с Лючией Монделлой?

– Собственно говоря... – дрожащим голосом отвечал дон Абондио, – собственно говоря, вы, синьоры, люди светские и отличнейшим образом знаете, как делаются такие дела. Бедняк курато тут ни при чем; они свои пироги сами пекут, ну, а потом... потом являются к нам так, как ходят в банк за деньгами; ну а мы – что же, мы, служители общины...

– Так вот, – сказал ему браво на ухо, однако тоном торжественного приказания, – помните – этому венчанию не бывать ни завтра, ни когда-либо.

– Но, синьоры, – возразил дон Абондио кротким и вежливым тоном человека, который желает уговорить нетерпеливого собеседника, – извольте, синьоры, влезть в мою шкуру. Если бы дело зависело от меня... но вы же отлично знаете, что мне тут ничего не перепадет...

– Ну довольно, – прервал его браво, – если бы дело решалось болтовней, вы бы нас за пояс заткнули. Мы ничего больше не знаем и знать не хотим. Предупреждение вам сделано – вы нас понимаете.

– Но ведь вы, синьоры, люди достаточно справедливые и разумные...

– И все же, – перебил на этот раз другой, до сих пор молчавший, – и все же венчание не состоится, иначе... – тут он разразился цветистой руганью, – иначе тот, кто его совершит, не успеет в этом покаяться, некогда будет... – и он снова выругался.

– Тише ты, тише, – вставил первый, – синьор курато понимает благородное обращение; мы тоже люди благородные и никакого зла ему причинять не собираемся, если он окажется благоразумным. Синьор курато! Преславный синьор дон Родриго, наш патрон, высоко чтит вас.

Имя это пронеслось в сознании дона Абондио, словно вспышка молнии в ночную непогоду, – вспышка, которая на мгновение смутно озаряет все вокруг и только усиливает ужас. Он совершенно произвольно отвесил низкий поклон и проговорил:

– Если бы вы мне хоть намекнули...

– Намекать тому, кто латынь знает! – бесцеремонно и зловеще расхохотался браво. – Дело ваше! Но главное, не проболтайте – ведь мы сделали это предупреждение исключительно для вашего блага, не то... хм... получится то же самое, как если бы вы совершили это венчание... Ну, так что же нам передать от вас синьору дону Родриго?

– Нижайшее мое почтение...

– Этого мало.

– Готов, всегда готов повиноваться!

Произнося эти слова, он и сам не знал, дает ли он обещание или только говорит любезность. Брави приняли или по крайней мере сделали вид, что принимают его слова всерьез.

– Превосходно! Покойной ночи, сударь, – сказал один из них, уходя с товарищем.

Дон Абондио, который несколько минут назад готов был пожертвовать глазом, чтобы избежать всяких разговоров, теперь хотел продлить беседу и переговоры.

– Синьоры... – начал было он, захлопывая книгу обеими руками, но те, не вняв его обращению, пошли по дороге в том направлении, откуда он пришел, и удалились, напевая песенку, которую я не стану приводить.

Бедняга дон Абондио на мгновение застыл с разинутым ртом, словно зачарованный, а потом пошел по той из двух тропинок, которая вела к его дому, переставляя с трудом, одну за другой, свои словно одеревеневшие ноги. Что касается его самочувствия, то мы разберемся в нем лучше, если скажем кое-что о его характере и о той эпохе, в какую ему довелось жить.

Читатель уже заметил, что дон Абондио от рождения не обладал сердцем льва, к тому же с детских лет он должен был убедиться, что тяжелее всего в те времена приходилось живот-

ному, не имеющему ни когтей, ни клыков. А ему вовсе не хотелось, чтобы его проглотили. Сила закона ни в малейшей степени не защищала человека спокойного, безобидного и не имеющего возможности держать в страхе других. Не то чтобы не хватало законов и наказаний за насилия, совершаемые отдельными лицами. Напротив, законы изливались потоками; преступления в них перечислялись и детализировались с необычайным многословием; наказания, и без того до нелепости чрезмерные, могли, в случае необходимости, еще усиливаться чуть ли не в каждом отдельном случае по произволу самого законодателя и сотни исполнителей; судопроизводство направлено было лишь к освобождению судьи от всего, что могло бы ему помешать произнести обвинительный приговор: приведенные нами отрывки указов против бравы являются тому малым, но верным образцом. Вместе с тем – а в значительной степени именно потому – все эти указы, повторно объявляемые и усиливаемые каждой новой властью, служили лишь высокопарным свидетельством полного бессилия их авторов. А если и получалось какое-нибудь непосредственное воздействие, то оно выражалось прежде всего усугублением угнетения, которое и без того испытывали мирные и слабые люди от смутьянов, и усилением насилий и козней со стороны последних. Безнаказанность была систематической и покоилась на основаниях, которых указы не затрагивали либо не могли нарушить. Таковыми были право убежища и привилегии некоторых классов, частью признаваемые законом, частью терпимые и замалчиваемые либо впустую оспариваемые, а на деле поддерживаемые этими классами со всей энергией заинтересованности и с ревнивой придирчивостью. Но эта безнаказанность, сделавшись предметом угроз и нападок со стороны указов, бессильных, однако, ее разрушить, естественно, отстаивая себя, должна была при каждой угрозе, при каждом натиске пускать в ход новые усилия и новые выдумки. Так оно и было на деле: при появлении указов, направленных к укрощению негодяев, последние, опираясь на реальную свою силу, изыскивали новые, более подходящие способы, чтобы продолжать то самое, что воспрещалось указами. Указы эти могли тормозить каждый шаг, могли причинять всякие неприятности благонамеренному человеку, бессильному и лишенному чьего-либо покровительства, ибо, задавшись целью держать в своих руках любое отдельное лицо, чтобы предупредить или покарать любое преступление, они подчиняли каждое движение такого лица произвольной прихоти всякого рода исполнителей. Наоборот, тот, кто, приготовившись совершить преступление, принимал меры к тому, чтобы вовремя укрыться в монастырь, во дворец, куда сбирьы никогда не посмели бы ступить ногой; кто, без других предосторожностей, просто носил ливрею, которая возлагала на тщеславные интересы какой-либо знатной фамилии или целого сословия обязанность защищать его, – тот был свободен в своих действиях и мог посмеиваться над всеми этими громовыми указами. Да и среди призванных выполнять эти указы одни по рождению принадлежали к привилегированной среде, другие зависели от нее как клиенты – те и другие в силу воспитания, интересов, привычек, подражания усвоили себе принципы этой среды и очень поостереглись бы нарушить их ради клочка бумаги, расклеенного на углах. Далее, люди, которым вверено было непосредственное исполнение указов, будь они даже неустрашимы, как герои, послушны, как монахи, и готовы к самопожертвованию, как мученики, все-таки не могли бы довести дело до конца, поскольку они численно были в меньшинстве по сравнению с теми, кого должны были бы подчинить; весьма велика была для них и вероятность того, что их покинут те, от кого отвлеченно, так сказать теоретически, исходило приказание действовать. А помимо этого, они в большинстве случаев принадлежали к наиболее мерзким и преступным элементам своего времени; порученное им дело презиралось даже теми, кто должен был бы бояться их, и самое звание их было бранным словом. Отсюда вполне естественно, что они, вместо того чтобы рисковать, а тем более ставить на карту свою жизнь в таком безнадежном предприятии, продавали власть имущим свое невмешательство и даже попустительство, оставляя за собой возможность проявлять эту гнусную власть и свою силу в тех случаях, когда им не грозила

опасность, то есть, попросту сказать, досаждали притеснениями людям мирным и беззащитным.



Человек, который собирается обижать других или ежеминутно опасается, что его самого обидят, естественно ищет союзников и сотоварищей. Отсюда в те времена было в высочайшей степени развито стремление отдельных лиц держаться определенных группировок, образовывать новые и содействовать возможно большему усилению того круга, к которому они сами принадлежали. Духовенство заботилось о поддержании и расширении своих льгот, знать – своих привилегий, военные – своих особых прав. Торговцы, ремесленники объединялись в цехи и братства, юристы составляли лигу, даже врачи – свою корпорацию. Каждая из этих маленьких олигархий была сильна по-своему; в каждой из них отдельная личность, в зависимости от своего влияния и умения, получала возможность использовать в личных интересах объединенные силы многих. Более добросовестные прибегали к этой возможности только в целях самозащиты; хитрецы и злодеи пользовались ею при выполнении своих преступных замыслов, для которых не хватило бы их собственных средств, и чтобы обеспечить себе безнаказанность. Однако силы различных этих союзов были весьма неравны, особенно в деревне: знатный и богатый насильник, окруженный шайкой брави и крестьянами, которые по исконным семейным традициям привыкли и были заинтересованы, а то и просто вынуждены считать себя как бы подданными и солдатами своего патрона, проявлял такую власть, с которой никакая другая группа в данной местности не могла бороться.

Не знатный, не богатый, еще менее того храбрый, наш Абондио, едва ли не раньше вступления своего в сознательный возраст, приметил, что в этом обществе он подобен сосуду ску-

дельному, который вынужден совершать путь совместно со множеством чугунных горшков. А посему он довольно охотно послушался родителей, которые прочили его в священники. По правде говоря, он не очень раздумывал об обязанностях и о благородных целях того служения, которому он себя посвящал; добыть средства для безбедного существования и попасть в состав уважаемого и влиятельного слоя общества – вот два основания, которых, как ему казалось, было вполне достаточно для оправдания такого выбора. Но всякий общественный слой лишь до известной степени прикрывает и застраховывает отдельную личность, не избавляя ее от необходимости выработать себе свою собственную систему защиты. Бесперывно поглощенный мыслями о своем спокойствии, дон Абондио не заботился о таких преимуществах, для достижения которых требовалось приложение больших усилий или некоторый риск. Его система заключалась главным образом в том, чтобы избегать всяких столкновений, а уж если их нельзя было избежать, то уступить. Он держался разоруженного нейтралитета во всех войнах, вспыхивавших вокруг него, начиная со столь обычных в ту пору распрей между духовенством и светскими властями, между военными и штатскими, между знатными и другими знатными, вплоть до споров между двумя крестьянами, вспыхивавших из-за какого-нибудь слова и разрешавшихся врукопашную или поножовщиной. Если крайняя необходимость заставляла его занять определенную позицию между тяжущимися сторонами, он становился на сторону более сильную, однако с постоянной оглядкой, стараясь показать другой стороне, что он несколько не желает быть ее врагом, – он как бы хотел сказать: «Почему ты не сумел оказаться более сильным, я бы тогда стал на твою сторону». Стараясь держаться подальше от сильных, закрывая глаза на их случайные, вызванные капризом притеснения и покорно снося более серьезные и заранее обдуманые, умея вызывать своими поклонами и почтительно-приветливым видом улыбку на лицах более ворчливых и сердитых людей, с которыми он сталкивался на дороге, бедняга ухитрился без больших тревожений перевалить за седьмой десяток.



Нельзя, однако, сказать, чтобы это не оставило в его душе известной горечи. Постоянное испытание терпения, столь частая необходимость уступать другим и молчаливо проглатывать обиды – все это настолько раздражало его, что, если бы он время от времени не давал выхода своим чувствам, его здоровье неминуемо пострадало бы. Но так как в конце концов на свете, даже совсем рядом с ним, были люди, неспособные, как он знал, обижать других, то он мог иногда срывать на окружающих долго подавляемое дурное настроение, позволяя себе

некоторые причуды и покрикивая на них без всякого основания. Он любил также быть строгим критиком людей, которые не умели держать себя в узде, но делал это лишь тогда, когда эта критика не грозила ему ни малейшими, хотя бы и отдаленными, последствиями. Всякий потерпевший был в его глазах по меньшей мере неосторожным человеком; убитый всегда оказывался смутьяном. А если кто-нибудь, принявшись отстаивать свои права против человека сильного, выходил из драки с разбитой головой, дон Абондио всегда умел найти за ним какую-нибудь вину: дело нехитрое, ибо между правотой и виной никогда ведь нельзя провести такой отчетливой грани, чтобы одна целиком была по одну, а другая по другую ее сторону. Больше же всего нападал он на тех своих собратьев, которые на собственный риск и страх принимали сторону обижаемого человека против всесильного притеснителя. Это он называл «покупать себе хлопоты за наличные деньги» и «желать выпрямить ноги у собаки»; он строго говорил также, что это – вмешательство в мирские дела, несовместимое с достоинством пастырского служения. И он громил таких людей, всегда, впрочем, с глазу на глаз или в самом тесном кругу, с тем бóльшим пылом, чем больше собеседники были известны своей неспособностью возражать там, где дело касалось их самих. При этом у него было любимое изречение, которым он неизменно заканчивал разговоры на эту тему: «У порядочного человека, который следит за собой и знает свое место, никогда не бывает неприятных столкновений».

Так пусть же представят себе мои немногочисленные читатели, какое впечатление должно было произвести на беднягу все изложенное. Ужас перед этими зверскими физиономиями и страшными словами; угрозы со стороны синьора, который славится тем, что угрожает не зря; налаженное спокойное существование, стоившее стольких лет усилий и терпения, а теперь разом разрушенное; наконец, предстоящий шаг, от которого неизвестно, как избавиться, – все эти мысли беспорядочно кружились в поникшей голове дона Абондио. «Если бы удалось отправить Ренцо с миром, решительно отказав ему, – куда ни шло; но ведь он потребует объяснения – а что же, ради самого Неба, мне ему отвечать? Опять же... у него есть голова на плечах; пока никто его не трогает, он чистый ягненок; зато, если кто вздумает ему перечить, – о!.. А тут еще он совсем голову потерял из-за этой Лючии, влюблен, как... Паршивцы этакие! Влюбляются от нечего делать, затевают свадьбу и ни о чем больше не думают; им и дела нет до тех неприятностей, которым они подвергают порядочного человека. Горе мне! Ведь нужно же было этим двум мерзавцам встать на моем пути и взяться за меня! При чем тут я? Разве я собираюсь жениться? Почему не пошли они разговаривать с...? Ну, вот подите же, – такая уж моя судьба: хорошие мысли всегда приходят мне в голову задним числом. Что бы мне догадаться надоумить их пойти со своим поручением к...».



Но тут он сообразил, что раскаиваться в том, что не сделался советником и соучастником в неправом деле, пожалуй, совсем уже плохо, и обратил весь свой гнев на того, другого, лишившего его привычного покоя. Он знал дона Родриго с виду и понаслышке, но никогда не имел с ним никаких дел. Только в тех редких случаях, когда дон Абондио встречал его на дороге, подбородок его сам касался груди, а тулья шляпы – земли. Не один раз случалось ему вступаться за доброе имя этого синьора против тех, кто шепотком, со вздохами и возведением очей к небу осуждал какой-нибудь его поступок: сотни раз он уверял, что это вполне почтенный дворянин. Но в данную минуту он в душе награждал его такими прозвищами, каких никогда не выслушивал из чужих уст без того, чтобы тут же не прервать говорившего неодобрительным оханием. Полный этих тревожных мыслей, добрался он до дверей своего дома, стоявшего на краю селения, торопливо сунул в замок заранее приготовленный ключ, отпер дверь, войдя, старательно запер ее за собой и, стремясь всей душой очутиться в благонадежном обществе, тут же принялся звать: «Перпетуя! Перпетуя!» – направляясь в небольшую гостиную, где она, наверное, накрывала стол к ужину. Нетрудно догадаться, что Перпетуя была служанкой дона Абондио, служанкой верной и преданной, умевшей, смотря по обстоятельствам, когда надо – сносить воркотню и причуды хозяина, а когда надо – заставлять его переносить ее собственные, становившиеся с каждым днем все более частыми, с тех пор как она переступила сорокалетний – «синодальный» – возраст, оставшись в девицах по причине отказа, как она уверяла, от всех сделанных ей предложений либо, как говорили ее приятельницы, по причине того, что ни один пес не пожелал к ней присвататься.

– Иду! – отвечала она, ставя на стол, на обычное место, кувшинчик любимого вина дона Абондио, и медленно двинулась на зов; но не успела она дойти до порога комнаты, как дон

Абондио уже входил тяжелой поступью, с мрачным взглядом и расстроенным лицом. Опытный глаз Перпетуи сразу заметил, что случилось что-то поистине необычайное.

– Милосердный Боже! Что с вами, синьор хозяин?

– Ничего, ничего, – отвечал дон Абондио и, тяжело дыша, опустился в свое огромное кресло.

– Как так ничего? И это вы говорите мне? У вас такой ужасный вид! Не иначе как случилось что-нибудь!

– Ради самого Неба! Когда я говорю – ничего, значит – ничего, либо что-нибудь такое, чего я не могу сказать.

– Не можете сказать даже мне? А кто же будет заботиться о вашем здоровье? Кто вам подаст добрый совет?

– Боже мой! Да замолчите же вы! Не надо мне ничего, а дайте-ка мне лучше стакан моего любимого вина.

– И вы меня будете уверять, что ничего не случилось? – сказала Перпетуя, наполняя стакан и не выпуская его из рук, словно собираясь отдать его не иначе как в награду за тайну, которую она так жаждала узнать.

– А ну дайте сюда, дайте! – сказал дон Абондио, взяв стакан не совсем твердой рукой и быстро опорожнив его, словно лекарство.

– Так вы, значит, хотите, чтобы я вынуждена была повсюду ходить и расспрашивать, что такое стряслось с моим хозяином? – сказала Перпетуя, стоя перед ним, руки в бока и выпятив вперед локти, пристально глядя на него, словно желая вырвать тайну из его глаз.

– Ради самого неба! Не разводите сплетен, не поднимайте шума – тут можно ответить... головой.

– Головой?

– Да, головой...

– Вы же отлично знаете – всякий раз, когда вы со мной говорили о чем-нибудь откровенно, по секрету, я ведь никогда...

– Что уж говорить! Вот, например, когда...



Перпетуя поняла, что задела не ту струну. А потому, тут же изменив тон, промолвила взволнованным голосом, способным растрогать собеседника:

– Дорогой хозяин, ведь я всегда была к вам привязана; если я теперь хочу узнать, то ведь это из усердия: мне хочется помочь вам, дать добрый совет, поддержать вас...

В сущности говоря, сам дон Абондио, пожалуй, стремился освободиться от своей мучительной тайны так же страстно, как Перпетуя стремилась ее узнать, вот почему, отбивая все слабее и слабее новые и все более напористые атаки с ее стороны и предварительно заставив ее поклясться несколько раз в том, что она никому – ни гугу, он в конце концов с многократными перерывами, ахами и охами рассказал ей злосчастное свое приключение. Когда же дошло до страшного имени главного зачинщика, Перпетуя должна была принести новую, особо торжественную клятву – и дон Абондио, произнося роковое имя, с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла и, воздевая руки, как бы приказывая и вместе с тем умоляя, произнес:

– Но ради самого Неба...

– О господи! – воскликнула Перпетуя. – Ах он негодяй, ах тиран! Нет у него страха Божьего!

– Замолчите вы! Или вы хотите совсем погубить меня?

– Да что вы! Мы тут совсем одни, никто не услышит. Но что же вы будете делать, бедный мой хозяин?

– Вот видите, – ответил с раздражением дон Абондио, – видите, какие вы мне умеете давать советы. Только от вас и слышишь: что делать да что делать, как будто попали впросак вы и мне приходится вас выручать.

– Да нет же, я что? Пожалуй, я бы и подала какой ни на есть совет, только будет ли толк?

– Ну, там посмотрим!

– Мой совет такой: ведь вот все говорят, что наш архиепископ человек святой и влиятельный и никого-то он не боится, а когда ему удастся проучить одного из этих тиранов и защитить какого-нибудь курато, он так весь и ликует. Так я вот что скажу: напишите-ка вы ему письмо, да хорошее, и разъясните ему, что и как...



– Да замолчите же вы наконец! Вот какие советы даете вы несчастному человеку! Если бы, избави Боже, мне всадили заряд в спину, архиепископ, что ли, стал бы со мной возиться?

– Ну, выстрелами-то зря не сыпят – это вам не конфетти! Да и псы эти, хоть и лаются, но не всегда же кусают. А я вот заметила: кто умеет показать зубы и заставить уважать себя, тем и почет и уважение; а потому, что вы никогда не хотите высказывать своего мнения, мы и дошли до того, что, с позволения сказать, каждый...

– Замолчите же!

– Что ж, я замолчу! А все-таки правильно: если весь свет видит, что кто-нибудь всегда, при всякой okazji, тут же готов спустить паруса...

– Замолчите вы или нет? Время ли теперь болтать всякую чепуху?

– Ну, будет! Успеете надуматься за ночь. Только зачем же причинять себе вред и портить здоровье? Скушали бы кусочек...

– Да, я подумаю, – отвечал, ворча, дон Абондио, – конечно подумаю; есть о чем подумать. – И он поднялся, прибавив: – Есть я ничего не хочу, ничего – не до того сейчас, я сам знаю, что выкручиваться придется мне одному. Но надо же, чтобы это стряслось именно со мной!



– Вы бы хоть еще глоточек пропустили, – сказала Перпетуя, наливая вина. – Вы ведь знаете, как это всегда помогает вашему желудку.

– Ах, не до того, не до того теперь, совсем не до того!.. – С этими словами он взял свечу и отправился наверх в свою комнату, ворча про себя: «Пустяки, подумаешь! Это с таким-то благородным человеком, как я! Что-то будет завтра?» Уже на пороге комнаты он обернулся к Перпетуе и, приложив палец к губам, медленно и торжественно произнес: – Ради самого Неба! – и скрылся.



Глава вторая



Существует рассказ, будто принц Конде спал крепким сном в ночь накануне битвы при Рокруа. Но во-первых, он был очень утомлен, а во-вторых, он уже отдал все необходимые распоряжения и окончательно установил, что предстоит ему делать утром. Наоборот, дон Абондио не знал ничего, кроме того лишь, что назавтра предстоит бой, поэтому значительную часть ночи он потратил на тревожные размышления. Не придавать значения разбойничьим застраиваниям и угрозам и совершить венчание – такое решение он даже не стал и обдумывать. Рассказать Ренцо обо всем случившемся и вместе с ним поискать выхода... – Боже избави! «Не проболтайтесь... а иначе...» – сказал один из брави, и, вспомнив, как угрожающе прозвучало это «а иначе...», дон Абондио не только не посмел подумать о нарушении такого приказанья, но, больше того, – его взяло раскаяние, что он позволил себе проболтаться Пер-

петуе. Бежать? Но куда? И что потом? Сколько будет хлопот! Только и делай, что отчитывайся! Каждое отвергнутое решение заставляло беднягу беспокойно ворочаться на постели. Во всяком случае, наилучшим и самым безопасным, как ему казалось, было следующее: выиграть время, всячески вода за нос Ренцо. Кстати, он вспомнил, что оставалось всего несколько дней до поста, когда запрещено венчаться. «И если я на несколько дней сумею попридержать этого паренька, то потом у меня будет два месяца передышки; ну а за два месяца много воды утечет». Он обдумывал разные доводы, какие можно было бы привести, и хотя они показались ему несколько легковесными, все же он успокаивал себя мыслью, что его авторитет сообщит этим доводам подобающий вес, а давний опыт даст ему большое преимущество перед невежественным юнцом. «В самом деле, – говорил он себе, – он думает о своей возлюбленной, ну а я думаю о своей шкуре; я больше заинтересован, не говоря уже о том, что я и похитрее. Дорогой сынок, если уж тебе так приспичило, я тут ни при чем, во всяком случае – расплачиваться за тебя я не желаю». Несколько успокоившись на принятом решении, он наконец смежил очи. Но какой сон и какие сновидения! Бравы, дон Родриго, Ренцо, тропинки, скалы, бегство, преследование, крики, выстрелы...



Первое пробуждение после случившегося несчастья, когда сознаешь тяжесть положения, бывает очень горьким. Сознание, едва прояснившись, возвращается к привычным представлениям предшествовавшей спокойной жизни – но вдруг мысль о новом состоянии дел грубо вступает в свои права, и горечь становится еще сильнее от этого мгновенного сопоставления. Пережив эту горькую минуту, дон Абондио быстро перебрал намеченные ночью решения, утвердился в них, привел их в порядок, затем встал и принялся ожидать Ренцо с некоторой боязнью, но в то же время и с нетерпением.

Лоренцо, или, как его все звали, Ренцо, не заставил себя долго ждать. Как только, по его мнению, наступил час, когда можно было, не нарушая приличия, явиться к курато, он отправился к нему с радостной поспешностью двадцатилетнего юноши, которому предстоит в этот день вступить в брак с любимой девушкой. Оставшись сиротой с юных лет, он занимался ремеслом прядильщика шелка – ремеслом, так сказать, наследственным в его семье и достаточно доходным в прежние годы; теперь оно уже находилось в упадке, однако не в такой степени, чтобы умелый работник не мог выработать достаточно для безбедной жизни. Работа со дня на день шла на убыль, но непрерывная эмиграция рабочих, которых привлекали

в соседние итальянские государства всякими посулами, привилегиями и хорошими заработками, вела к тому, что для оставшихся дома не было недостатка в работе. Кроме того, у Ренцо был небольшой клочок земли, который он отдавал в обработку, а равно обрабатывал и сам, когда прядильня стояла без дела, – так что для своего круга он мог считаться человеком зажиточным. И хотя этот год был еще скуднее предыдущего и уже давал себя чувствовать настоящий голод, все же наш паренек, который сделался бережливым с той минуты, как ему приглянулась Лючия, был достаточно обеспечен и с голодом ему бороться не приходилось.

Он предстал пред доном Абондио в полном параде: шляпа его была в разноцветных перьях, из кармашка штанов торчала красивая рукоятка кинжала; на лице его был отпечаток торжественности и вместе с тем лихости, свойственной в те времена даже самым мирным людям. Сдержанный и загадочный прием, оказанный ему доном Абондио, необычайно расходился с веселым и решительным обращением парня.

«Знать, у него голова чем-то занята», – подумал про себя Ренцо, а потом сказал:

– Я пришел справиться, синьор курато, в котором часу вы прикажете нам явиться в церковь.



– А вы о каком дне говорите?

– Как о каком дне? Разве вы не помните, что венчание назначено на сегодня?

– На сегодня? – возразил дон Абондио, словно услышав об этом в первый раз. – Сегодня, сегодня... нет, вы уж потерпите, сегодня я не могу.

– Сегодня не можете? Что же случилось?

– Во-первых, я не очень хорошо себя чувствую – вы же видите!

– Очень жаль. Но ведь дело это не столь уж долгое, да и не утомительное...

– Ну а затем... затем... затем...

– Что «затем», синьор курато?

– Затем... имеются кое-какие затруднения.

– Затруднения? Какие же могут быть затруднения?

– Надо побывать в нашей шкуре, чтобы знать, сколько в таких делах бывает всяких трудностей, сколько приходится нам отчитываться. А я человек слишком мягкосердечный, я только и думаю, как бы устранить с пути препятствия, как бы облегчить все, сделать к удовольствию других, – и из-за этого пренебрегаю своими обязанностями, а потом на меня же сыплются упреки, а то и того хуже...



– Но ради самого Неба, не томите вы меня, скажите мне просто и ясно, в чем же дело!

– Известно ли вам, сколько надо исполнить разных формальностей, чтобы совершить венчание по всем правилам?

– Уж мне ли этого не знать, – сказал Ренцо, начиная горячиться, – ведь вы мне уже достаточно морочили голову. Но разве теперь не все закончено? Разве не сделано все, что полагалось сделать?

– Все, все! Это вам так кажется! А в дураках-то, с вашего разрешения, оказываюсь я, – я нарушаю свои обязанности, чтобы только не заставлять страдать других. Но теперь... хватит! Я знаю, что говорю. Мы, бедные курато, попадаем между молотом и наковальней. Вам не терпится, – что же, я вам сочувствую, бедный молодой человек, – но начальство наше... ну, впрочем, довольно, всего ведь сказать нельзя. А попадает за все нам же.

– Да разъясните мне толком, какую там еще надо выполнить формальность, как вы говорите, – я немедленно ее выполняю.

– Вы знаете, сколько существует безусловных препятствий к венчанию?

– А откуда мне их знать, эти ваши препятствия?

– Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis... – начал было дон Абондио, перебирая по пальцам.

– Вы, видно, издеваетесь надо мной? – прервал его юноша. – На что мне сдалась она, ваша латынь?

– Ну а раз вы ничего не понимаете, имейте терпение и положитесь на тех, кто знает дело.

– Хватит, синьор курато!

– Потише, милый мой Ренцо, не извольте гневаться, я готов сделать... все, что зависит от меня. Мне очень хочется видеть вас довольным, я желаю вам только добра. Эх, как подумаешь, ведь как вам хорошо жилось, – чего вам доставало? Влезла же вам в голову эта дурь – жениться.

– Это что еще за разговоры, синьор? – прервал его Ренцо, не то удивленный, не то разгневанный.

– Да нет, я ведь только так. Вы уж потерпите... я так только... Хотелось бы видеть вас довольным.

– Одним словом...

– Одним словом, дорогой сынок, я тут ни при чем: не я составлял закон! И прежде чем совершить венчание, мы действительно обязаны провести кое-какие расследования и удостовериться, что препятствий к этому нет.

– Однако скажите же мне наконец, какое прибавилось препятствие?

– Потерпите малость, не такие это дела, чтобы их можно было разрешить так просто. Я надеюсь, ровно ничего тут не окажется, но, невзирая на это, мы все-таки обязаны произвести розыск. Текст ясно и отчетливо гласит: «Antequam matrimonium denunciaret...»¹

– Я же сказал вам, что не нужно мне никакой латыни!

– Но ведь надо же мне объяснить вам...

– Так разве вы не закончили этих расследований?

– Я же говорю вам, я сделал еще не все, что полагается.

– Почему же вы не сделали этого вовремя? Зачем же было говорить мне, что все готово? Чего же еще ждать?

– Ну вот, вы меня же и попрекаете за мою излишнюю доброту! Я делал всякие облегчения, чтобы поскорее услужить вам... но, видите ли, тут случилось кое-что такое... ну, будет, это уж мое дело.

– Что же мне, по-вашему, делать?

– Потерпеть несколько деньков. Сынок ты мой дорогой, несколько деньков – не вечность! Уж потерпите!

– А долго ли?

«Кажется, дело налаживается», – подумал про себя дон Абондио и с необычным для него жеманством произнес:

– Что же, недельки за две я постараюсь... сделаю, что могу...

– Две недели! Вот это действительно новость! Сделано все по вашему желанию, вы сами назначили день; день этот пришел – и вот вы мне говорите, чтобы я ждал еще две недели! Две недели!.. – запальчиво повторил он, повышая голос, и, подняв руку, потряс кулаком в воздухе; и кто знает, какой выходкой сопроводил бы он свое восклицание, если бы дон Абондио не прервал его, поспешно и вместе с тем осторожно и ласково схватив его за другую руку.

¹ «Прежде чем оглашать брак...» (лат.)

– Стойте, стойте – ради самого Неба, не сердитесь! Я посмотрю, постараюсь, нельзя ли в неделю...

– А что же мне сказать Лючии?

– Скажите, что это мое упущение.

– А что станут говорить люди?

– Да вы говорите всем, что это я ошибся, все от излишней спешки, от доброты моей сердечной; валите всю вину на меня. Чего же вам еще? Итак – через неделю.

– А потом уж других препятствий не будет?

– Раз я вам говорю...

– Ну что ж, я готов обождать неделю. Но помните, после этого никакие уговоры на меня не действуют. А пока – честь имею.

С этими словами он ушел, отвесив дону Абондио поклон, несколько менее глубокий, чем обычно, и взглянув на него не столько почтительно, сколько выразительно.

Выйдя на дорогу и – впервые за все время – направляясь без всякой охоты к дому своей невесты, Ренцо с возмущением перебирал в уме происшедший разговор и все более и более находил его странным. Холодный и смущенный прием, оказанный ему доном Абондио, его речь, сбивчивая и вместе с тем запальчивая, эти серые глаза, непрестанно бегавшие во время разговора по сторонам, словно боясь встретиться со словами, выходящими из его уст, это нарочитое изумление, как будто он первый раз слышит о венчании, уже согласованном с ним так определенно, а больше всего – эти постоянные намеки на какое-то важное обстоятельство, без ясного указания, в чем же дело, – все это, вместе взятое, приводило Ренцо к мысли, что под этим кроется какая-то тайна, непохожая на то, что старался внушить ему дон Абондио. На мгновение юноша остановился в нерешительности, не вернуться ли ему, чтобы прижать дону Абондио к стене и заставить говорить напрямик, но, подняв глаза, он увидел Перпетую, которая шла впереди него и свернула в огородик, находившийся в нескольких шагах от дома. Ренцо окликнул ее, когда она отворяла калитку. Ускорив шаг, он нагнал Перпетую, задержал ее у входа и, с намерением добиться от нее чего-нибудь более определенного, решил потолковать с нею.

– Здравствуйте, Перпетуя, я надеялся было, что нынче мы вместе попируем.

– Что ж поделаешь? Все в Божьей воле, бедный мой Ренцо.

– Скажите на милость: этот непутевый синьор курато наговорил мне чепухи про какие-то резоны, которых я так путем и не разобрал; объясните вы мне толком, почему он то ли не может, то ли не хочет обвенчать нас сегодня?

– Ох, неужели же вы думаете, что я знаю секреты своего хозяина?

«Я так и знал, что тут какая-то тайна», – подумал Ренцо. И чтобы извлечь ее на свет божий, продолжал:

– Вот что, Перпетуя, будем друзьями: расскажите мне, что знаете, помогите бедному малому.

– Плохое дело – родиться бедным, милый мой Ренцо.

– Правильно, – подхватил он, все больше утверждаясь в своих подозрениях, и, стараясь ближе подойти к делу, добавил: – Правильно, но полагается ли священникам плохо относиться к бедным?

– Послушайте, Ренцо, я ничего не могу сказать, потому что... я ничего не знаю; но в одном я могу вас уверить: мой хозяин ни вас, ни кого другого обижать не хочет – он тут ни при чем!

– А кто же тут при чем? – спросил Ренцо с самым небрежным видом, но сердце его при этом замерло и весь он обратился в слух.

– Но коли я говорю вам, что ничего не знаю... Только вот за хозяина своего я заступлюсь, потому что мне тяжело слушать, когда его обвиняют в желании сделать кому-либо неприят-

ность. Бедняжка! Уж если он грешит чем, так излишней добротой. Хорошо всем этим него-
дьям, тиранам, этим людям, не знающим страха Божьего...



«Тираны! Негодяи! – подумал Ренцо. – Это никак не относится к духовному начальству».

– Вот что, – сказал он, с трудом скрывая все нараставшее в нем волнение, – вот что: скажите мне поскорей, кто это.

– А! Понимаю – вам бы только заставить меня говорить, а я не могу сказать, потому что... я ничего не знаю: когда я ничего не знаю, это все равно как если бы я поклялась молчать. Хоть пытайте меня, слова из меня не вытяните. Прощайте, нечего нам обоим зря время терять!

С этими словами она поспешила в огород и заперла калитку. Ренцо, отвесив ей поклон, пошел обратно, потихоньку, дабы она не заметила, куда он идет; но, оказавшись за пределами слуха доброй женщины, он зашагал быстрее, мигом очутился у дверей дона Абондио, вошел в дом и направился прямо в комнату, где оставил старика. Увидя его там, Ренцо вытаращил глаза и с решительным видом приблизился к нему.

– Ого! Это что еще за новости? – сказал дон Абондио.

– Кто этот тиран? – спросил Ренцо голосом человека, решившего во что бы то ни стало добиться определенного ответа. – Кто этот тиран, которому неуютно, чтобы я женился на Лючии?

– Что? Что? Что такое? – пролепетал озадаченный старик; лицо его сразу побледнело и стало дряблым, как тряпка, вынутая из корыта.

Продолжая что-то бормотать, он вскочил с кресла и бросился к выходу. Но Ренцо, который, очевидно, ожидал этого движения и был настороже, опередил его – повернул ключ и положил его в карман.



– Ага, теперь-то уж вы заговорите, синьор курато! Все знают мои дела, кроме меня самого. Ну так и я, черт возьми, желаю знать их. Как его зовут?

– Ренцо, Ренцо! Бога ради, поберегитесь, что вы делаете? Подумайте о своей душе.

– Я вот и думаю о том, что хочу все знать немедленно, сию же минуту! – И с этими словами он, может быть без всякого умысла, взялся за рукоятку ножа, торчавшего у него из кармана.

- Пошадите! – сдавленным голосом простонал дон Абондио.
- Я хочу знать!
- Кто сказал вам...
- Ни-ни! Довольно болтовни! Отвечайте, и без уверток.
- Вы что – моей смерти хотите?
- Я хочу знать то, что имею право знать!
- Но если я проговорюсь, то мне конец. Неужели мне жизнь не дорога?
- Вот потому-то и извольте говорить!

Это «потому-то» произнесено было с такой настойчивостью и вид у Ренцо стал таким угрожающим, что дон Абондио даже и думать не смел о дальнейшем сопротивлении.

- Вы обещаете, вы клянётесь мне, – сказал он, – ни с кем об этом не говорить?..
- Я вам выкину такую штуку, если вы мне сию же минуту не назовете его имени...

В ответ на это новое заклинание дон Абондио, с выражением лица и глаз человека, которому зубодер засунул в рот щипцы, произнес:

- Дон...
- Дон? – повторил Ренцо, словно желая помочь пациенту выплюнуть наружу остальное.

Он стоял нагнувшись, наклонив ухо к губам дон Абондио и заложив за спину сжатые кулаки вытянутых рук.

– Дон Родриго! – скороговоркой произнес пытаемый, стремительно вытолкнув из себя эти немногие слоги и проглатывая при этом согласные, отчасти от волнения, отчасти потому, что, применяя оставшуюся у него малую долю внимания на установление некоторого равновесия между двумя одолевавшими его страхами, он, казалось, хотел изъять из обращения и заставить исчезнуть эти слова в тот самый момент, когда его принудили произнести их.

- Ах он пес! – завопил Ренцо. – А как же он сделал это? Что он сказал вам про...

– Как! Как! – почти негодуящим голосом отвечал дон Абондио, который после столь тяжелой жертвы, им принесенной, сознавал, что Ренцо теперь до известной степени его должник. – Хотел бы я, чтобы это вас задело так же, как это задело меня, который тут совсем ни при чем, тогда бы у вас всю дурь сразу вышибло из головы!

И он принялся самыми мрачными красками описывать ужасную встречу, и, рассказывая, он все больше давал волю своему гневу, которому до этой минуты страх не давал излиться наружу. Вместе с тем, видя, что Ренцо, взбешенный и подавленный, стоит перед ним с опущенной головой, дон Абондио довольно весело продолжал:

– Нечего сказать! Хорошенькую же вы затеяли историю! И услужили же вы мне!.. Сыграть такую штуку с благородным человеком, с вашим духовником! В его же собственном доме! В святом месте! Какой, подумаешь, совершили подвиг! На погибель мне, на погибель и себе самому вынудили меня сказать то, что я скрывал из благоразумия, вам же на благо! Но вот теперь вы все знаете! Хотел бы я посмотреть, что вы со мной сделаете... Ради самого Неба! Тут не до шуток. Дело не в том, кто виноват, кто прав, – дело в том, кто сильнее. Давеча утром, когда я давал вам добрый совет – как вы сразу взбеленились! А ведь я думал и о себе, и о вас... Ну так что же? Отоприте хотя бы дверь, верните мне ключ.



– Я, может быть, и виноват, – обратился к дону Абондио Ренцо, и голос его зазвучал мягче, хотя в нем и кипела еще ненависть к обнаруженному врагу, – может быть, я и виноват, но, положив руку на сердце, подумайте только, если бы на моем месте...

С этими словами он вынул из кармана ключ и пошел отпирать дверь. Дон Абондио направился вслед за ним, и, пока Ренцо поворачивал ключ в замке, старик приблизился к нему и с лицом серьезным и озабоченным, подняв к глазам Ренцо три пальца правой руки, словно желая в свою очередь помочь ему, произнес:

– Поклянитесь, по крайней мере...

– Может быть, я и провинился, так простите меня, – отвечал Ренцо, отворяя дверь и собираясь уйти.

– Поклянитесь... – повторил дон Абондио, схватив его за плечо дрожащей рукой.

– Может быть, я и виноват, – повторил Ренцо, стараясь освободиться, и стремглав вылетел, взбешенный, прекращая таким способом спор, который, подобно любому литературному, философскому или иному спору, мог бы затянуться навеки, потому что каждая из сторон только и делала бы, что твердила свои доказательства.

– Перпетуя! Перпетуя! – закричал дон Абондио после тщетных попыток вернуть убежавшего. Перпетуя не откликнулась, и дон Абондио перестал понимать, что происходит.

Людам и позначительнее дона Абондио не раз случалось переживать такие неприятные передраги, такую неопределенность положения, при которой лучшим выходом кажется сказаться больным и улечься в постель. Этого выхода ему не приходилось даже и искать, он последовал сам собой. Вчерашний испуг, тревожная бессонница минувшей ночи, новый, только что пережитый испуг, тревога за будущее – все это возымело свое действие. Подавленный и отупевший, уселся он в кресло и, почувствовав какой-то озноб во всем теле, стал, вздыхая, разглядывать свои ногти, вызывая время от времени дрожащим и сердитым голосом: «Перпетуя!» Та наконец явилась с огромным кочном капусты под мышкой. Лицо ее выражало равнодушие, словно ничего не произошло. Я избавлю читателя от всех жалоб, соболезнований, обвинений,

оправданий, от всяких «вы одни только и могли сказать» да «ничего я не говорила» – словом, ото всех обычных в таких случаях разговоров. Достаточно сказать, что дон Абондио приказал Перпетуе запереть дверь на засов, ни под каким видом никому не отпирать, а если кто постучится, говорить через окно, что синьор курато нездоров и лежит в приступе лихорадки. После этого он медленно стал взбираться по лестнице, повторяя через каждые три ступени: «Влип! влип!» Да и в самом деле улегся в постель, где мы пока его и оставим.

Тем временем Ренцо в бешенстве зашагал по направлению к дому. Он еще не решил, что ему делать, но им уже овладело неотступное желание совершить что-нибудь необычное и страшное. Тираны, бросающие вызов, все те, кто так или иначе обижает других, виновны не только в творимом ими зле, но и в том потрясении, в какое они повергают души обиженных ими. Ренцо был юноша смирный, далекий от кровожадности, юноша прямой, чуждый коварных замыслов, но в данную минуту душа его жаждала крови, воображение было всецело поглощено измышлением какой-нибудь ловушки. Ему хотелось мчаться к дому дон Родриго, схватить его за горло и... Но тут он спохватывался, что жилище это было подобно крепости, охраняемой снаружи, а внутри кишевшей всякими брави; что только испытанные друзья и слуги имели в него свободный доступ, не подвергаясь осмотру с головы до ног; что незнакомого скромного ремесленника туда не пустили бы без проверки, а его, которого, вероятно, там очень хорошо знают, тем паче. Потом он подумал было взять ружье, спрятаться где-нибудь за изгородью и подкарауливать, не появится ли дон Родриго как-нибудь в одиночку. Он с жестоким наслаждением тешился воображаемой картиной: вот он слышит походку, его походку, осторожно поднимает голову, узнает злодея, наводит ружье, прицеливается, стреляет, видит, как тот падает и корчится; он бросает врагу проклятие и бежит по дороге к границе, чтобы оказаться в безопасности. А Лючия? Как только это имя прорезало зловеющий мир его фантазии, тотчас же туда толпой ворвались и добрые мысли, привычные его душевному складу. Он вспомнил последний завет своих родителей, вспомнил Бога, Мадонну и святых, подумал об удовлетворении, не раз испытанном, от сознания, что за ним не водится никакого преступления, подумал об ужасе, какой не раз охватывал его при рассказе о каком-нибудь убийстве, – и со страхом и угрызениями совести, но вместе с тем с какой-то радостью опомнился от своих кровожадных замыслов, радуясь, что все это только игра воображения. Но зато сколько размышлений повлекла за собой мысль о Лючии! Столько надежд, столько обещаний, – будущее, о котором так мечталось, которое казалось уже почти в руках, – наконец, этот день, столь желанный. Как же теперь, какими словами сообщить ей эту новость? И далее, какое же принять решение? Как сделать ее своею, на зло этому всемогущему злодею. Заодно с этим в уме его промелькнуло не то чтобы определенное подозрение, но какая-то мучительная тень: наглость дон Родриго объясняется не чем иным, как его животной страстью к Лючии. Но Лючия? Неужели она подала к этому хотя бы малейший повод, малейшую надежду? Подобная мысль ни на мгновение не могла возникнуть в голове Ренцо. Но знала ли она хоть что-нибудь об этом? Мог ли он воспылать этой гнусной страстью и она не заметила этого? Посмел бы он прибегать к таким действиям, не испытав ее как-нибудь иначе? А ведь Лючия никогда ни словом не обмолвилась об этом ему! Своему жениху!

Обуреваемый такими мыслями, он прошел мимо своего дома, находившегося посредине деревни, пересек ее и направился к дому Лючии, стоявшему на краю деревни, почти совсем у околицы. Перед домиком этим был небольшой двор, отделявший его от улицы и огороженный невысокой стеной. Ренцо вошел во дворик и услышал несмолкаемый гул голосов, доносившийся из комнаты наверху. Он догадался, что это подружки и кумушки, собравшиеся сопровождать Лючию, и ему не захотелось показываться на глаза этому сборищу с лицом, расстроенным полученной новостью. Девчурка, находившаяся на дворе, кинулась ему навстречу с криком: «Жених! Жених!»

– Тише, тише, Беттина! – сказал ей Ренцо. – Поди-ка сюда, ступай наверх к Лючии, отзови ее в сторонку и шепни ей на ушко... да только смотри, чтобы никто не слышал и ничего не заметил... скажи ей, что мне нужно с ней поговорить, что я жду ее в нижней комнате... да пусть приходит сейчас же!

Девчурка помчалась по лестнице, радостная и гордая данным ей секретным поручением.

В эту минуту мать как раз закончила одевать Лючию, и подружки со всех сторон обступили разряженную невесту и вертели ее во все стороны, чтобы получше разглядеть. А она поворачивалась, отбиваясь со свойственной крестьянкам немножко воинственной скромностью, загромождавая локтем лицо, склоненное на грудь, и нахмутив густые черные брови, меж тем как губы ее невольно складывались в улыбку. Черные девичьи волосы, разделенные узкой белой полоской пробора, собраны были на затылке во множество мелких косичек, свернутых кольцами и заколотых длинными серебряными шпильками, которые расходились веером, образуя как бы сияние ореола, как и поныне причесываются крестьянки в окрестностях Милана. На шее у нее было ожерелье из гранатов, вперемежку с золотыми филигранными бусами. Ее стан облегал богатый корсаж из расшитой цветами парчи, с отдельными рукавами, которые были привязаны красивыми бантами. На ней была короткая юбка из плотного шелка со множеством мелких складок, красные чулки и узорчатые, тоже шелковые, туфли. Помимо этого свадебного наряда, Лючию красила ее скромная красота, еще более расцветшая от множества переживаний, отражавшихся на ее лице: радости, сдерживаемой легким смущением, тихой грусти, которая порой появляется на лице всякой невесты и, не умаляя красоты, придает ей особый отпечаток. Маленькая Беттина пробилась в кружок, подошла к Лючии и, осторожно дав понять, что хочет что-то сказать, шепнула ей на ушко словечко.

– Я выйду на минутку и сейчас же вернусь, – сказала Лючия женщинам и поспешно вышла. Увидя изменившееся лицо Ренцо и его беспокойное состояние, она спросила, охваченная каким-то страшным предчувствием: – Что случилось?

– Лючия, – ответил Ренцо, – на сегодня все пошло прахом, и один Бог ведает, когда нам удастся стать мужем и женой.

– Как? – сказала Лючия, совершенно растерявшись.

Ренцо вкратце рассказал ей все, что произошло в это утро. Она слушала его с тревогой, а услышав имя дона Родриго, вся вспыхнула, вздрогнула и воскликнула:

– Так вот до чего!..

– Значит, вы знали? – сказал Ренцо.

– Еще бы, – ответила Лючия, – так вот до чего!..

– Что же вы знали?

– Не заставляйте меня говорить сейчас, не заставляйте проливать слезы. Я побегу за матерью и отпущу женщин, нам надо остаться одним.

Когда она уходила, Ренцо тихо произнес:

– И вы никогда ничего мне не говорили!

– Ах, Ренцо! – ответила Лючия, лишь на мгновение обернувшись к нему на ходу. Ренцо отлично понял, что имя его, произнесенное Лючией в такую минуту и таким тоном, означало: «Неужели вы можете сомневаться, что если я молчала, то лишь по честным и чистым побуждениям?»

Между тем словечко, сказанное на ушко, равно как исчезновение Лючии вызвали подозрение и любопытство доброй Аньезе (так звали мать Лючии), и она спустилась узнать, что случилось. Дочь оставила ее с глазу на глаз с Ренцо, вернулась к собравшимся женщинам и, постаравшись придать полное спокойствие своему лицу и голосу, объявила:

– Синьор курато захворал, и сегодня венчание не состоится.

Сказав это, она торопливо отвесила общий поклон и опять спустилась вниз.

Женщины вышли одна за другой и рассыпались по деревне, рассказывая о происшедшем. Две-три прошли до дверей дона Абондио, чтобы удостовериться, действительно ли он болен.

– Сильнейшая лихорадка, – объявила им из окна Перпетуя; и печальная весть, переданная остальным, сразу оборвала всякие предположения, которые закопошились было у них в головах и таинственным шепотком зазвучали в их разговорах.



Глава третья



Лючия вошла в нижнюю комнату в тот момент, когда Ренцо с тревогой сообщал Аньезе о случившемся, а та с такою же тревогой слушала его. Оба они обратились к той, которая знала обо всем больше их. Они ждали разъяснений, неизбежно мучительных. И сквозь скорбь у обоих вместе с любовью, которую они по-разному питали к Лючии, проглядывала – опять-таки по-разному – горечь: как могла она скрыть от них что-то, да притом еще такое важное! При всем своем нетерпении поскорее выслушать дочь Аньезе не могла удержаться от упрека:

– Родной матери не сказать о таком деле!

– Теперь скажу вам все, – отвечала Лючия, утирая передником слезы.

– Говори, говори же, говорите! – разом закричали оба – и мать и жених.

– Пресвятая Дева! – воскликнула Лючия. – Кто бы мог подумать, что дело дойдет до этого?

И голосом, прерывающимся от рыданий, она рассказала, как несколько дней назад, когда она возвращалась из прядильни и поотстала от своих подруг, ей повстречался дон Родриго в сопровождении другого синьора, как дон Родриго пытался занять ее всякими разговорами – не совсем хорошими, как она выразилась; она же, не обращая на него внимания, прибавила шагу, догнала подруг и в то же время услышала, как другой синьор громко расхохотался, а дон Родриго произнес: «Бьюсь об заклад». На другой день те же синьоры опять оказались у нее на дороге; но Лючия шла среди подруг, опустив глаза; тот другой синьор засмеялся, а дон Родриго сказал: «Посмотрим, посмотрим».



– Благодарение Небу, – продолжала Лючия, – это был последний день работы. Я сейчас же рассказала...

– Кому рассказала? – спросила Аньезе, выступая вперед, не без некоторого чувства досады по адресу предпочтенного наперсника.

– Падре Кристофоро, мама, на исповеди, – ответила Лючия мягким извиняющимся тоном. – Я все ему рассказала, когда мы в последний раз ходили вместе в монастырскую церковь: если припомните, я в то утро принималась то за одно, то за другое, лишь бы проканите-

литься, пока не появятся другие деревенские – кому по дороге, – чтобы пойти вместе с ними, ведь после этой встречи я так боялась появляться на улице...

Как только произнесено было почтенное имя падре Кристофоро, досада Аньезе сразу улеглась.

– Ты хорошо поступила, – сказала она, – но почему было не рассказать и своей матери?

У Лючии имелось на этот счет два разумных соображения: одно – не опечалить и не напугать добрую женщину, которая ведь все равно не могла бы помочь в этом деле; другое – избежать риска широкой огласки всей этой истории, которую ей всячески хотелось похоронить, тем более что предстоящая свадьба, думалось Лючии, оборвала бы в самом начале это гнусное преследование. Из этих двух соображений она, однако, сослалась лишь на первое.

– А по-вашему, – сказала она потом, обращаясь к Ренцо таким тоном, которым хочешь внушить другу, что он был не прав, – по-вашему, мне бы не следовало скрывать этого? Ну вот, теперь вы знаете все.

– А что же сказал тебе падре Кристофоро? – спросила Аньезе.

– Он сказал, чтобы я всячески постаралась ускорить свадьбу, а пока сидела бы дома; чтобы хорошенько молилась Богу; что тот синьор, как он надеется, не видя меня, перестанет обо мне думать. Вот тогда-то, – продолжала она, снова обращаясь к Ренцо, не поднимая, однако, на него глаз и вся покраснев, – тогда-то я, утратив всякий стыд, сама принялась просить вас поторопиться со свадьбой, назначив ее раньше намеченного срока. Кто знает, что вы обо мне подумали! Но я хотела только добра, ведь мне так посоветовали, и я была уверена... А нынче утром я так далека была от мысли... – Тут сильнейшее рыдание прервало ее слова.

– Ах, негодяй! Ах, злодей! Ах, окаянный! – кричал Ренцо, бегая взад и вперед по комнате и хватаясь время от времени за рукоятку ножа.

– Господи боже мой! Вот беда-то какая! – восклицала Аньезе.

Юноша вдруг остановился перед плачущей Лючией; с горечью и вместе с тем с нежностью поглядел на девушку и сказал:

– Ну, на этот раз придет конец разбойнику!

– О нет, Ренцо, ради самого Неба! – вскрикнула Лючия. – Нет, нет! Ради Бога! Господь печется и о бедных... Как же вы хотите, чтобы он помогал нам, если мы сами будем творить зло?

– Нет, нет, ради самого Неба! – повторяла за нею Аньезе.

– Ренцо, – сказала Лючия, с выражением надежды и спокойной решимости, – у вас есть ремесло, и я тоже умею работать; уйдем из этих мест, чтобы он о нас больше и не слышал.

– Ах, Лючия! А что будет потом? Ведь мы еще не муж и жена. Согласится ли дон Абондио выдать нам свидетельство об отсутствии препятствий к венчанию? Такой-то человек! Будь мы повенчаны – о, тогда...

Лючия снова принялась плакать. Все трое молчали, и уныние, их охватившее, было в тягостном противоречии с праздничной пышностью их одежд.

– Вот что, детки, послушайте-ка меня, – заговорила через некоторое время Аньезе. – Я ведь свет божий увидела раньше вас и людей немножко знаю. Не следует так пугаться: не так страшен черт, как его малюют. Нам, бедным, моток шелка порою кажется особенно запутанным только потому, что мы не умеем найти конца. Иной раз совет либо словцо человека ученого... ну, я знаю, что говорю. Сделайте по-моему, Ренцо! Подите-ка в Лекко, отыщите там доктора Крючкотвора, расскажите ему... Да смотрите, ради самого Неба, не называйте его так, – это его прозвище. Надо называть его просто «синьор доктор»... Как, бишь, его зовут-то? Вот поди ж ты! Не знаю я настоящего его имени – все его так именуют. Ну, словом, отыщите вы этого доктора, он такой длинный, тощий, лысый, с красным носом и малиновой родинкой на щеке.



– Да знаю я его с виду! – сказал Ренцо.

– Вот и отлично, – продолжала Аньезе. – Это – голова. Я не раз видала таких, что запутывались хуже цыпленка в пакле, прямо не знали, куда податься, а посидев часок с глазу на глаз с доктором Крючоктвором (смотрите не назовите его так!), глядишь, становились веселыми – сама видала! Захватите вот этих четырех каплунов (бедняжки, я только что собиралась свернуть им шею к воскресному пиру!) да снесите-ка их ему: к этим господам никогда не следует являться с пустыми руками. Расскажите ему все, что случилось, и увидите: он, не сходя с места, наговорит обо всем этом такого, что нам никогда не пришло бы в голову, хоть год думай!

Ренцо чрезвычайно охотно ухватился за этот совет; одобрила его и Лючия; а Аньезе, гордясь тем, что подала его, вынула бедных каплунов, одного за другим, из плетенки, собрала воедино все восемь ног, точно делала букет из цветов, скрутила их, перевязала бечевкой и вручила Ренцо, который, обменявшись с Аньезе и Люцией словами ободрения, вышел из дому

садом, чтобы не попасться на глаза ребяташкам, которые бросились бы за ним вслед с криками: «Жених! Жених!»

Пересекая поля, или, как говорят там, «места», он шел тропинками, взволнованно размышляя о своем злосчастье и обдумывая речь, с которой он собирался обратиться к доктору Крючоктову.

Предоставляю читателю судить о том, как себя чувствовали во время этого путешествия бедные связанные каплуны, схваченные за лапки и висевшие головой вниз, в руках человека, который от волнения при столь сильных переживаниях сопровождал соответствующими жестами все мысли, беспорядочно приходившие ему в голову. Он то в гневе протягивал руку вперед, то в отчаянии поднимал ее вверх, то потрясал ею в воздухе, словно угрожая кому-то, и на все лады изрядно встряхивал каплунов, заставляя болтаться четыре свешивающиеся головы, которые при этом все-таки ухитрились клевать друг друга, как довольно часто случается с товарищами по несчастью.

Придя в город, он справился о местожительстве доктора и направился туда, куда ему указали. При входе им овладела робость, которую малограмотные бедняки испытывают при приближении к господам и ученым, – Ренцо сразу забыл все приготовленные речи, однако, бросив взгляд на каплунов, он приободрился и, войдя в кухню, спросил служанку, нельзя ли поговорить с синьором доктором. Та заприметила каплунов и, привыкнув к подобным подношениям, протянула к ним руку, хотя Ренцо убрал их назад: ему хотелось, чтобы сам доктор увидел дары и знал, что он пришел не с пустыми руками. Доктор подошел, как раз когда служанка говорила: «Давайте-ка их сюда и проходите к ним».

Ренцо отвесил глубокий поклон; доктор принял его ласково и со словами: «Входите, сынок!» – провел за собой в кабинет. Это была большая комната, на трех стенах которой висели портреты двенадцати цезарей, четвертая занята была большой полкой со старинными запыленными книгами. Посредине стоял стол, заваленный повестками, прошениями, жалобами, указами, вокруг него – три-четыре стула, а с одной стороны – кресло с ручками и высокой четырехугольной спинкой, завершавшейся по обоим углам деревянными украшениями наподобие рогов. Кресло было обтянуто коровьей кожей, прибитой гвоздиками с крупными шляпками; некоторые из них от времени вывалились, оставив неприкрепленными углы обивки, кое-где образующей складки. Доктор был одет по-домашнему, а именно: на нем была уже поношенная тога, которая много лет назад служила ему при торжественных выступлениях, когда он отправлялся в Милан по какому-нибудь важному делу. Он затворил за собой дверь и старался подбодрить юношу словами:



- Расскажите мне, сынок, свое дело.
- Я хотел бы поговорить с вами по секрету.
- Я слушаю, – сказал доктор и уселся в кресло.

Стоя у стола и засунув одну руку в шляпу, которую он вертел другой рукой, Ренцо продолжал:

- Я хотел бы у вас, как у человека ученого, узнать...

– Ну, смелей, расскажите мне, в чем дело! – прервал его доктор.

– Уж вы меня извините, мы, люди простые, не умеем говорить складно. Так вот, мне бы хотелось знать...

– Что за народ! Все вы такие: вместо того чтобы рассказать дело, вы все хотите выпросить, потому что уже заранее все решили про себя.

– Извините, синьор доктор, мне бы хотелось знать, подлежит ли наказанию тот, кто с угрозой станет требовать от священника, чтобы он не смел венчать.

«Я понял, – сказал себе доктор (на самом деле он ровно ничего не понял). – Я понял!» – Он сразу принял серьезный вид, но к серьезности этой примешивалось сочувствие и участие; он крепко сжал губы, издав при этом нечленораздельный звук, означавший чувство, более отчетливо выраженное вслед за этими первыми же его словами:

– Серьезный казус, сынок, – казус, предусмотренный законом. Вы хорошо сделали, придя ко мне. Казус простой, о нем упоминается в сотне постановлений и в одном специальном прошлогоднем постановлении нынешнего синьора губернатора. Вот я вам его сейчас дам посмотреть и даже потрогать собственными руками.

С этими словами он поднялся с кресла и, запустив руки в кучу бумаг, стал ворошить их, словно насыпая зерно в мерку.

– И где только оно? Ну, вылезай же, вылезай! И надо же иметь такую кучу! Наверняка оно тут – ведь это постановление важное. Да вот оно, вот! – Он взял бумагу, расправил ее, посмотрел на число и, приняв вид еще более серьезный, воскликнул: – Пятнадцатого октября тысяча шестьсот двадцать седьмого года. Совершенно верно: постановление от прошлого года – свеженькое. Такие больше всего внушают страх. Вы читать умеете, сынок?

– Немножко, синьор доктор.

– Хорошо. Следите за мной глазами и увидите.

И, высоко подняв развернутую грамоту, он принялся читать, бормоча отдельные места скороговоркой и по мере надобности прочитывая отчетливо, с большим выражением, некоторые другие:

– Хотя распоряжением, обнаруженным по приказанию синьора герцога Ферийского сего 14 декабря 1620 года и подтвержденным преславнейшим и превосходительнейшим синьором Гонсало Фернандесом ди Кордова... и прочая и прочая... приняты были чрезвычайные и строжайшие меры против утеснений, вымогательств и тиранических действий, кои некоторыми предерзостно чинятся над преданными вассалами его величества, однако количество этих правонарушений, равно и злокозненность оных... и так далее и так далее, возросли в такой мере, что поставили его превосходительство в необходимость... и так далее и так далее... А посему, согласно суждению сената и хунты... и так далее... постановили обнаружить настоящее распоряжение.

В отношении тиранических действий твердо установлено, что многие в данном городе, равно и в селениях... слышите?... в селениях сего государства насильнически чинят вымогательства и утесняют слабейших всякими способами, принуждая к подневольным торговым сделкам, найму... и так далее и так далее. Вы следите? Ага, так вот, слушайте: Принуждая к заключению браков или же расстраивая таковые... А? Что скажете?

– Как раз мой случай, – сказал Ренцо.

– Слушайте, слушайте дальше, а потом посмотрим, что за это полагается. *Принуждая к даче показаний либо к недаче оных; к уходу кого-либо с места его пребывания и так далее... к уплате долга или к препятствованию взыскания оного; к помолу на его мельнице... Все это к нам не относится. А, вот, стойте... к тому, чтобы то или иное духовное лицо не совершало возложенных на него обязанностей либо совершало действия, до него не относящиеся... Каково?*

– Указ словно нарочно для меня составлен.

– Вот именно. Слушайте, слушайте дальше: *...и другие подобные насилия, учиняемые вассалами, знатными, людьми среднего звания, худородными и простонародьем... Никто не ускользнет: все тут, настоящая Иосафатова долина! Теперь слушайте про наказания... Хотя все таковые и им подобные злодеяния воспрецены, однако его превосходительство, имея в виду применение сугубой строгости и не отменяя настоящим предшествующих... и так далее и так далее... сим предписывает и приказывает всем наличным судьям сего государства преследовать судом нарушителей любой из вышепоименованных статей, равно и им подобных, с наложением денежного штрафа и телесного наказания, равно и ссылкой или каторгой, и до смертной казни включительно... шутка сказать!.. по усмотрению его превосходительства или сената применительно к каждому отдельному случаю, лицу и обстоятельству. И сие не-у-клон-но и со всюю строгостью... и так далее и так далее... Ну, как вам это покажется? А? Смотрите, вот и подписи: Гонсало Фернандес ди Кордова, и дальше внизу: Платонус, а вот здесь еще: скрепил Феррер. Все как полагается!*

В то время как доктор читал, Ренцо медленно водил глазами по бумаге, стараясь проследить связь и уловить точный смысл этих священных слов, в которых, казалось ему, было все

его спасение. Заметив, что новый клиент скорее внимателен, нежели напуган, доктор удивился этому. «Должно быть, парень-то отчаянный», – подумал он про себя, а затем произнес:



– Вот, однако, вы себе чуб-то срезали. Оно, конечно, благоразумно. Но раз вы собрались довериться мне, в этом, пожалуй, не было надобности. Казус серьезный, но вы и не знаете, на что я при случае способен.

Чтобы понять эту выходку доктора, надо знать или припомнить, что в те времена профессиональные брави и всякого рода преступники обычно носили длинный чуб, которым как забралом прикрывали себе лицо при нападениях на кого-либо – во всех тех случаях, когда считали необходимым замаскироваться или когда предприятие было из числа тех, где требуется одновременно и сила, и благоразумие. Указы не могли обойти молчанием подобной моды. *Его превосходительство (маркиз Инохоза) приказывает: кто станет носить волосы столь длинные, что ими прикрывается лоб до бровей включительно, или кто станет носить косу перед или за ушами, тот подвергается штрафу в триста скуди, а в случае несостоятельности – трехгодичной каторге, если провинился впервые, в случае же повторения – сверх вышеуказанного, увеличенному взысканию, денежному и телесному, по усмотрению его превосходительства.*

Однако при наличии плешивости, равно и иного разумного основания, например отметины или ранения, таковым лицам, для вящего их приукрашения и здоровья, его превосходительство не возбраняет носить волосы такой длины, какая необходима для прикрытия подобных недостатков, но и не более того, предостерегая вместе с тем не выходить за пределы должного и крайней необходимости, дабы не подвергнуться взысканию, установленному для всех других нарушителей.

Равным образом его превосходительство под страхом штрафа в сто скуди или троекратного публичного вздергивания на дыбу и даже еще более значительного телесного наказания, по усмотрению, как указано выше, приказывает цирюльникам не оставлять тем, кого

они стригут, указанных кос, чубов, завитков, ни волос длиннее обычного, ни на лбу, ни на висках, ни за ушами, но дабы все были уравнены, как указано выше, за исключением случаев плешивости или других недостатков, как о том сказано.

Таким образом, чуб являлся как бы предметом вооружения и отличительным признаком всяких буйнов и забияк, вследствие чего их обычно и прозывали «чубами». Кличка эта уцелела и живет поныне в местном диалекте, правда в несколько смягченном значении. Думается, среди миланских наших читателей не один припомнит, как, бывало, в детстве родители, или учитель, или друг дома, или кто-нибудь из прислуги говорили про него самого: «Этакий чуб! Этакий чубик!»

– По совести говоря, честное слово бедного парня, – отвечал Ренцо, – я в жизни своей никогда не носил чуба.

– Так ничего у нас не выйдет, – ответил доктор, покачав головой и усмехаясь не то лукаво, не то раздраженно. – Если вы мне не доверяете, ничего не получится. Видите ли, сынок, плести ахинею доктору глупо, все равно судье придется сказать правду. Адвокату надо излагать обстоятельства ясно: наше дело потом спутать карты. Если хотите, чтобы я вам помог, нужно рассказать мне все начистоту от альфы до омеги, с открытой душой, как на исповеди. Вы должны назвать то лицо, которое дало вам поручение, – разумеется, это особа знатная и в таком случае я сам схожу к нему, это так уж полагается. Понятно, я не стану ему говорить, что узнал от вас про данное им поручение, – в этом вы уж положитесь на меня. Я скажу ему, что пришел умолять его заступиться за бедного оклеветанного парня. С ним вместе я и предприму нужные шаги к тому, чтобы закончить дело по-хорошему. Поймите вы: спасая себя, он спасет и вас. Опять же, если вся эта штука – дело только ваших рук, что ж, я не уклоняюсь, мне случалось выручать людей и из худших передряг... Только бы вы не задели какой-нибудь значительной особы, – об этом надо сговориться заранее, – я берусь выручить вас из затруднения, – ну, разумеется, не без некоторых издержек. Вы должны назвать мне, кто, как говорится, обиженный, – а там, сообразно с положением, званием и настроением нашего приятеля будет видно, можно ли припугнуть его тем, что у нас есть рука, либо найти какой-нибудь способ нам самим впутать его в уголовщину, так сказать, запустить ему блоху в ухо: ведь если кто хорошо сумеет обойти указы, тогда никто не окажется ни виноватым, ни правым. Что касается курато, – если он человек разумный, он не станет брыкаться; ну а если он окажется упрямым, найдем средство и против такого. Из всякой каверзы можно выпутаться, но для этого нужен толковый человек; а ваш казус серьезный, – серьезный, повторяю, весьма серьезный! Указ гласит определенно. И если дело будет решаться между юстицией и вами, так сказать, с глазу на глаз, вам придется плохо. Говорю вам по-дружески: за шалость приходится расплачиваться. Если хотите отделаться дешево, нужны деньги и откровенность; надо довериться тому, кто вам желает добра, надо слушаться и исполнять все, что будет вам предписано.

Пока доктор исходил всеми этими словами, Ренцо стоял и глядел на него с тем восхищенным вниманием, с каким зевака на базарной площади глядит на фокусника, который, напихав в рот огромное количество пакли, вытягивает потом оттуда нескончаемую ленту. Однако, когда он ясно понял то, что хотел сказать доктор и какая произошла путаница, он оборвал нескончаемую ленту, тянувшуюся из уст адвоката:

– Ах, синьор доктор, да как же вы поняли все это? Ведь все как раз наоборот. Я никому не угрожал. Я такими делами не занимаюсь: спросите хоть всю нашу деревню, все вам скажут, что я никогда никаких дел с судами не имел. Подлость сделали со мной, я и пришел к вам узнать, как мне поступить, чтобы добиться правды. Я очень доволен, что ознакомился с этим указом.

– Черт возьми! – воскликнул доктор, вытаращив глаза. – Что за чушь вы несете! Всегда так – все вы такие! Не умеете вы, что ли, ясно излагать дело?

– Простите меня, но ведь вы же не дали мне времени. Теперь я вам расскажу все, как есть. Так вот, было бы вам известно, я сегодня должен был обвенчаться, – тут голос Ренцо дрогнул, – обвенчаться сегодня с девушкой, за которой я ухаживал с нынешнего лета; и на сегодня, видите ли, был назначен день самим священником, и все было налажено. И вдруг синьор курато начинает приводить разные отговорки... ну, словом, – не стану вам докучать, – я его заставил говорить как полагается, без уверток; он мне и признался, что ему под угрозой смерти запрещено было венчать нас. Этот тиран, дон Родриго...

– Что вы! – быстро прервал его доктор, нахмутив брови, сморщив красный свой нос и скривив рот. – Что вы! И зачем вы приходите забивать мне голову подобным вздором? Ведите такие разговоры между собой, раз вы не умеете взвешивать своих слов; и не ходите вы за этим к благородному человеку, который знает цену словам. Ступайте, ступайте: вы сами не понимаете того, что говорите! Я с мальчишками не связываюсь; я не желаю слушать подобной болтовни, подобных бредней...



– Клянусь вам...

– Ступайте, говорю вам! На что мне ваши клятвы? Я в это дело не вмешиваюсь – я умываю руки! – И он принялся потирать руки, словно в самом деле умывал их. – Научитесь сначала говорить, нельзя же так застигать врасплох благородного человека.

– Но послушайте, послушайте! – тщето повторял Ренцо.

Однако доктор, продолжая браниться, толкал его обеими руками к выходу. Наконец, прижав его к самой двери, он отпер ее, позвал служанку и сказал ей:

– Немедленно верните этому человеку все, что он принес: ничего мне от него не надо, ничего.

Женщине этой, за все то время, что она служила в доме, ни разу не приходилось выполнять подобного приказа, но оно было высказано с такой решительностью, что она не посмела ослушаться. Взяв несчастных четырех каплунов, она вручила их Ренцо, взглянув

на него с пренебрежительным состраданием, словно хотела сказать: «Хорошенькую, видно, выкинул ты штучку». Ренцо не хотел было брать птиц, но доктор оставался непреклонным, и парень, изумленный и раздосадованный более чем когда-либо, вынужден был забрать отвергнутые жертвы и вернуться восвояси, чтобы поведать женщинам про блестящий итог своего паломничества.

А в его отсутствие женщины, с грустью сменив праздничный наряд на обычное будничное платье, снова принялись совещаться. Лючия при этом все рыдала, а Аньезе вздыхала. После того как мать обстоятельно высказалась о значительных результатах, которых можно было ожидать от советов адвоката, Лючия сказала, что нужно всячески искать выхода; что падре Кристофоро – такой человек, который не только подаст совет, но и сделает все возможное, раз речь идет о поддержке людей бедных; что очень хорошо было бы дать ему знать о происшедшем. «Разумеется», – подтвердила Аньезе, и они вместе принялись обсуждать, как это сделать. Пойти самим в монастырь, находившийся от них в двух милях, – на это у них в такой день не хватало духу, и, конечно, ни один разумный человек не посоветовал бы им поступить так. Но пока они прикидывали и так и этак, у входа послышался легкий стук и тут же вслед за ним тихий, но отчетливый возглас: «Deo gratias!»² Лючия, догадываясь, кто бы это мог быть, побежала отворять. В дверь вошел, приветливо кланяясь, послушник-капуцин, монастырский сборщик. Через левое плечо у него был перекинут двойной мешок, который он крепко прижимал к груди обеими руками, перехватив его посередине, где было отверстие.

– А, фра Гальдино! – произнесли обе женщины.

– Господь да пребудет с вами, – ответил капуцин. – А я пришел за орехами.

– Сходи-ка принеси орехи для братии, – сказала Аньезе.

Лючия встала и направилась в другую комнату, но, прежде чем войти в нее, она приостановилась за спиной фра Гальдино, который продолжал стоять в прежней позе, и, приложив палец к губам, выразительно посмотрела на мать нежным, умоляющим и вместе с тем властным взглядом, требовавшим сохранения тайны.

Сборщик, поглядывая издали на Аньезе, произнес:

– А как же свадьба? Ведь ей бы надо быть сегодня. Я заметил в деревне какое-то смущение, словно приключилось что-то неожиданное. В чем дело?

– Да вот синьор курато захворал, приходится отложить, – торопливо ответила Аньезе. Не сделай Лючия ей знака, ответ, пожалуй, был бы иным. – Ну, а как идет сбор? – продолжала она, чтобы переменить разговор.

– Неважно, любезная донна, неважно. Вот только и всего! – С этими словами он скинул мешок со спины и потряс его обеими руками. – Только и всего. А ведь я в десять домов заходил – вон какое собрал богатство!

– Да, такие уж пошли скудные годы, фра Гальдино: когда на счету каждый кусок хлеба, уж тут и в остальном не расщедришься.

– А чтобы вернуть хорошие годы, что, по-вашему, нужно, донна? Милостыня нужна! Вы слышали про чудо с орехами, которое случилось тому уж много лет в нашем монастыре в Романье?

– По правде говоря, не слыхала... А ну-ка расскажите.

– Так вот, видите ли, жил-был в этом монастыре один наш падре, святой человек, а звали его Макарио. Вот как-то зимой идет он тропинкой по полю одного нашего благодетеля, тоже хорошего человека, и видит он, стоит этот благодетель около своего большого орехового дерева, а четверо поселян, взмахивая мотыгами, принимают его окапывать, чтобы обнажить корни. «Что вы делаете с этим бедным деревом?» – спросил падре Макарио. «Эх, падре, вот уж столько лет оно не приносит ни единого ореха, я и хочу пустить его на дрова». – «Оставьте

² «Благословен Господь!» (лат.)

его, – сказал падре, – знайте, что в этом году на нем будет орехов больше, чем листьев». Благодетель, хорошо знавший того, кто произнес эти слова, тут же приказал работникам закидать корни землей и, окликнув монаха, который уже пошел дальше своей дорогой, сказал ему: «Падре Макарио, половину сбора я жертвую монастырю». Молва о пророчестве распространилась, и все бегали смотреть на ореховое дерево. И в самом деле, весной на нем появилась уйма цветов, а со временем такая же уйма орехов. Доброму благодетелю нашему не пришлось сбивать орехи, ибо еще до сбора урожая он отошел в вечность принять мзду за свою щедрость. Но чудо от этого стало еще большим, как вы сейчас услышите. У человека этого остался сын совсем иного склада. И вот, когда пришло время урожая, сборщик отправился за получением причитавшейся монастырю доли. Но хозяин прикинулся, что знать ничего не знает и ведать не ведает; он имел дерзость ответить, что никогда не слыхивал, чтобы капуцины выращивали орехи. И знаете, что случилось? Как-то раз (вы только послушайте!) собрал этот непутевый кое-кого из своих приятелей – того же поля ягоды! – и за пирушкой рассказал им историю про ореховое дерево и при этом издевался над монахами. Событьишки выразили желание пойти поглядеть на эту непомерную грудку орехов. Он повел их в амбар. И что же! Отпирает он дверь и со словами: «Вот смотрите» – идет к углу, где у него была свалена эта огромная куча. Что же там оказалось? Огромный ворох сухих ореховых листьев. Каков пример! Монастырь же не только не потерпел от этого никакого ущерба, но даже преуспел, ибо после такого великого события сбор орехов все рос да рос, так что один благодетель, из сострадания к бедному сборщику, пожертвовал монастырю осла, чтобы легче было доставлять собранные орехи. И масла из них выжимали столько, что всякий бедняк приходил и получал, сколько ему требовалось. Ибо мы подобны морю, которое собирает воды отовсюду и потом снова наделяет ими все реки.





Тут появилась Лючия. В переднике у нее было столько орехов, что она с трудом несла их, напрягая вытянутые руки, которыми крепко держала высоко поднятые углы передника. В то время как фра Гальдино, снова скинув с плеч мешок, опустил его на пол и начал раскручивать, чтобы всыпать в него щедрую милостыню, мать удивленно и строго посмотрела на Лючию, как бы укоряя ее за расточительность; но Лючия отвечала взглядом, словно говорившим: «Погодите, я все объясню потом». Фра Гальдино стал рассыпаться в восхвалениях, пожеланиях, обещаниях, благодарностях и, водворив мешок на место, собрался было уходить. Но Лючия остановила его словами:

– Не сделаете ли вы мне одолжение? Не передадите ли падре Кристофоро, что мне очень нужно срочно поговорить с ним? Не окажет ли он милость нам, бедным, не зайдет ли, да как можно скорее? А то нам самим нельзя пойти в церковь.

– Только и всего? Не пройдет и часу, как я передам падре Кристофоро вашу просьбу.

– Так я на вас полагаюсь!

– Да уж будьте покойны! – С этими словами он удалился, пригибаясь уже гораздо ниже и более довольный, чем когда шел сюда.

На том основании, что бедная девушка с такой доверчивостью давала поручение позвать падре Кристофоро, а сборщик без малейшего удивления и так охотно брал на себя это поручение, пусть никто не подумает, что этот падре Кристофоро был совсем заурядным, обыкновенным монахом. Наоборот, он пользовался большим влиянием и среди своих, и во всей округе. Но так уж было заведено у капуцинов: ничто не казалось им ни слишком низменным, ни слишком возвышенным. Служить слабым и принимать услуги сильных, входить во дворцы и в лачуги все с тем же видом смирения и уверенности в себе, быть в одном и том же доме то предметом забавы, то лицом, без которого не решается ни один важный вопрос, выпрашивать милостыню повсюду и подавать ее всем, кто обращался за нею в монастырь, – все это было делом привычным для капуцина. Идя по улице, он одинаково мог встретиться с каким-нибудь князем, который почтительно лобызал концы его вервья, или с толпой сорванцов, которые,

притворившись, будто дерутся между собой, забрасывали ему бороду грязью. Слово «фра» в те времена произносилось то с величайшим уважением, то с горчайшим презрением. И капуцины, пожалуй, больше всякого другого ордена вызывали к себе два совершенно противоположных чувства, и самая судьба их была тоже двойка, ибо, ничего не имея, нося странное одеяние, заметно отличающееся от обычного, откровенно проповедуя смирение, они часто становились предметом и глубокого уважения, и презрения, которое подобные вещи могут вызывать со стороны людей иного склада и образа мыслей.

Когда фра Гальдино ушел, Аньезе не удержалась от восклицания:

– Сколько орехов отдала, и в такой-то год!

– Простите меня, мама, – возразила Лючия. – Но ведь подай мы милостыню как другие, фра Гальдино пришлось бы собирать еще бог знает сколько времени, покуда наполнится его мешок, и бог знает когда бы он вернулся в монастырь; а по дороге он стал бы еще болтать со всеми и, чего доброго, позабыл бы вообще про наше поручение.

– А ведь ты хорошо придумала, да к тому же всякая милостыня всегда воздастся, – сказала Аньезе, которая при всех своих недостатках была все же очень доброй женщиной и, как говорится, пошла бы в огонь и в воду за свою единственную дочь, в которой души не чаяла.

Тут вернулся Ренцо и, войдя в комнату со злым и вместе с тем расстроенным видом, бросил каплунов на стол. На этом кончились злключения бедных тварей за этот день.

– Ну и хороший же совет вы мне дали! – сказал он Аньезе. – Послали к порядочному человеку, который действительно помогает бедным! – И он передал свой разговор с доктором.

Пораженная столь печальным исходом, Аньезе собралась было доказывать, что совет все-таки был полезный и что Ренцо, должно быть, не сумел сделать дело как следует, но Лючия прервала этот спор, заявив, что нашла, по-видимому, лучшую поддержку. Ренцо разделил эту надежду, как всегда бывает с людьми, попавшими в бедственное и запутанное положение.

– Но если падре Кристофоро не найдет для нас выхода, – прибавил он, – тогда найду его я тем или иным способом!

Женщины стали призывать его к спокойствию, терпению и благоразумию.

– Завтра падре Кристофоро наверняка придет, – сказала Лючия, – и вы увидите, что он найдет какое-нибудь средство, такое, какое нам, людям маленьким, даже и в голову не приходит.

– Надеюсь, – сказал Ренцо, – но, во всяком случае, я сумею добиться правды либо сам, либо с помощью других. Есть же, наконец, справедливость на этом свете!



В грустных разговорах и хождениях туда и сюда, описанных нами, прошел весь этот день, и уже стало смеркаться.

– Покойной ночи, – печально сказала Лючия Ренцо, который никак не мог решиться уйти.

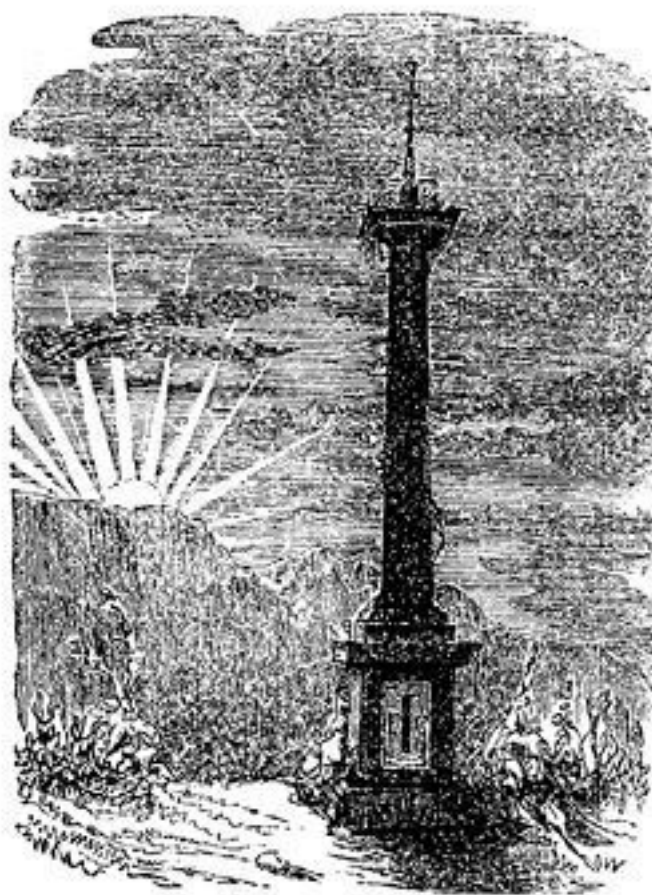
– Покойной ночи, – еще печальнее ответил он.

– Какой-нибудь святой поможет нам, – сказала Лючия, – не теряйте благоразумия и смирения.

Мать, со своей стороны, тоже дала несколько подобных советов, и жених ушел со смятением в душе, все время повторяя заветные слова: «Есть же справедливость на этом свете!» Поистине, подавленный скорбью человек не знает, что ему и сказать.



Глава четвертая



Солнце стояло еще низко над горизонтом, когда падре Кристофоро выходил из своего монастыря в Пескаренико, чтобы подняться к домику, где его ожидали. Пескаренико – небольшая деревушка на левом берегу Адды или, лучше сказать, озера недалеко от моста, – горсточка домов, населенных по преимуществу рыбаками, с разбросанными там и сям сетями и неводами, развешанными для просушки. Монастырь (его строения существуют и поныне) расположен был за деревушкой прямо против въезда в нее, на полдороге, ведущей из Лекко в Бергамо. Небо было совершенно ясно. По мере того как солнце вставало над горизонтом,

свет его заливал вершины противоположных гор и словно быстро сползал вниз по склонам вплоть до самой долины. Легкий осенний ветерок, срывая с ветвей увядшие листья тутового дерева, усеивал ими землю. Справа и слева в виноградниках, на еще подвязанных виноградных лозах, рдели покрасневшие листья разных оттенков; и свежевспаханная земля резко выделялась коричневым своим цветом на белесоватом, блестящем росой жнивье. Пейзаж этот радовал глаз, но появление всякой человеческой фигуры омрачало взгляд и наводило на грустные мысли. Время от времени попадались нищие, оборванные и исхудалые, то привычные к этому ремеслу, то протягивавшие руку под давлением царившей в ту пору горькой нужды. Они молча проходили мимо падре Кристофоро, благоговейно глядя на него, и, хотя не могли рассчитывать ни на какую подачку с его стороны, потому что капуцин никогда не прикасался к деньгам, все же отвешивали ему благодарственный поклон за милостыню, какую они уже получили или только еще шли получить в монастыре. Зрелище крестьян, рассеянных по полям, вызывало еще более щемящую грусть. Одни шли, разбрасывая семена пореже, расчетливо и как бы скрепя сердце, словно рискуя чем-то очень для себя дорогим; другие налегали на заступ как бы с огромным усилием и нехотя переворачивали поднятую глыбу. Щупленькая девочка, придерживая за веревку пасущуюся тощую коровенку, худую как щепка, заглядывала вперед и быстро наклонялась, чтобы стащить у нее для своей семьи какую-нибудь травку, которую голод научил людей употреблять в пищу. Эти картины с каждым шагом увеличивали печаль монаха, который и без того уже шел с тяжелым предчувствием в душе, готовясь услышать о каком-нибудь несчастье.

Но откуда у него была такая забота о Лючии? И почему по первому же слову он пустился в путь с такой поспешностью, словно на зов падре-провинциала? И кто был этот падре Кристофоро? На все эти вопросы необходимо дать ответ.

Падре Кристофоро из *** был ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти годам. Бритая голова его, окаймленная, по капуцинскому обычаю, лишь узким венчиком волос, поднималась время от времени таким движением, в котором неуловимо проскальзывало что-то надменное и беспокойное; но она тут же опускалась вниз во имя смирения. Длинная седая борода, покрывавшая его щеки и подбородок, еще резче оттеняла благородные черты верхней части его лица, которым воздержание, давно уже ставшее для него привычкой, придало серьезность, не лишив их выразительности. Глубоко сидящие глаза смотрели большей частью в землю, но порою они вспыхивали с внезапной живостью, словно пара ретивых коней на поводу у кучера, про которого они по опыту знают, что его не одолеть, и все же время от времени делают скачок в сторону, за что тут же и расплачиваются резким одергиванием удил.

Падре Кристофоро не всегда был таким, да и не всегда был он падре Кристофоро – при крещении ему дали имя Лодовико. Он был сыном купца из *** (звездочки эти поставлены моим анонимом из осторожности), который в последние годы своей жизни оказался обладателем изрядного состояния и, имея единственного сына, отказался от торговли, решив зажить по-благородному.



В этой непривычной для него праздности им стал овладевать стыд за все время, потраченное им на то, чтобы сделать что-нибудь путное на этом свете. Во власти своей причуды, он всячески стремился заставить всех забыть свое купеческое происхождение; он и сам хотел забыть об этом. Однако лавка, тюки товара, весы, локоть неуклонно вставали в его памяти, как тень Банко перед Макбетом, даже среди роскошного пира и заискивающих улыбок прихлебателей. Никакими словами не передать стараний, какие прилагались этими несчастными, чтобы избежать малейшего слова, которое могло бы показаться намеком на бывшее положение их амфитриона. В один прекрасный день, например, под конец пиршества, в минуту самого оживленного и непринужденного веселья, когда трудно было бы сказать, кто больше наслаждается – толпа ли гостей или угощавший ее хозяин, – последний принялся дружески-покровительственно поддразнивать одного из сотрапезников, величайшего в мире обжору. А этот, желая попасть в тон шутке, без малейшей тени издевки, наоборот, с чисто ребяческим простодушием ответил ему: «Я, как купец, туг на ухо». Сказал, да и прикусил язык, услышав свои собственные слова; неуверенно взглянул он на нахмурившееся чело хозяина. Обоим хотелось скрыть выражение лица, но это было невозможно. Другие гости стали было придумывать каждый про себя, как бы затушить назревавшую ссору и перевести разговор на иную тему, но, раздумывая, они молчали, и это молчание только подчеркивало произошедшее недоразумение. Все избегали глядеть в глаза друг другу; всякий сознавал, что все заняты мыслью, которую каждому хотелось скрыть. День был окончательно испорчен. А неразумный или, лучше сказать, незадачливый гость перестал получать приглашения. Так отец молодого Лодовико провел последние свои годы в вечной тревоге, постоянно опасаясь стать предметом насмешки и ни разу не придя к мысли, что продавать – несколько не смешнее, чем покупать, и что

той профессией, которой он так стыдился теперь, он много лет как-никак занимался на глазах у всех, не испытывая никакого стыда. Сына своего он воспитывал по-благородному, согласно с тогдашними требованиями, и, поскольку это допускалось законами и обычаями, нанял для него учителей, чтобы обучать литературе и верховой езде, и вскоре скончался, оставив сына совсем молодым и вполне обеспеченным.

Лодовико усвоил привычки синьора, а льстецы, среди которых он вырос, приучили его требовать большой к себе почтительности. Но когда он попытался завязать связь с наиболее уважаемыми людьми своего города, то натолкнулся на обращение, весьма отличное от того, к какому привык; и он увидел, что стремление войти в их общество, как ему того хотелось, потребовало бы от него новой школы терпения и покорности, необходимости стоять всегда ниже других и ежеминутно глотать обиды. Такой образ жизни не соответствовал ни воспитанию, ни характеру Лодовико. Задетый за живое, он стал сторониться синьоров. А потом так и держался в отдалении, но уже с горечью, ибо ему казалось, что они-то в действительности и должны были бы составлять его общество, а для этого им следовало бы быть обходительнее. Эта смесь противоречивых чувств мешала ему непринужденно возвращаться в желанном обществе. Однако, стремясь так или иначе иметь дело с людьми знатными, он принялся соперничать с ними в великолепии и роскоши, навлекая на себя этим лишь неприязнь, зависть и насмешки. Нрав его, прямой и вместе с тем буйный, со временем втянул его и в другие, более серьезные столкновения. Он питал искреннее и глубокое отвращение ко всякому притеснению и насилию, и это отвращение обострялось в нем тем сильнее, чем выше стояли лица, совершавшие их изо дня в день, – а ими были как раз те самые люди, с которыми он больше всего был не в ладу. Чтобы разом унять или, наоборот, подогреть в себе эти страсти, он охотно принимал сторону какого-нибудь слабого, обиженного человека, хвастливо брался вывести на чистую воду обидчика, ввязывался в ссору, навлекая на себя другую, так что мало-помалу сделался каким-то защитником всех притесняемых, мстителем за поруганную справедливость. Задача оказалась трудной; и не приходится удивляться, что у бедного Лодовико оказалось немало столкновений и забот. Помимо явной войны с врагами он непрестанно терзался внутренними противоречиями, потому что для успешной развязки какого-либо столкновения (не говоря уже о случаях, когда он терпел поражение) приходилось и ему прибегать к хитрости и насилиям, за которые его потом мучила совесть. Он вынужден был держать при себе изрядное количество забияк, притом, как для собственной безопасности, так и для обеспечения себе наиболее сильной поддержки, приходилось выбирать самых отчаянных, а значит, и самых плутоватых, – словом, из любви к справедливости жить с мошенниками. Не раз, обескураженному после какой-нибудь неудачи или обеспокоенному нависшей над ним опасностью, измученному постоянной необходимостью быть настороже, чувствуя отвращение к своему окружению, задумываясь над будущим при виде того, как средства его уходят с каждым днем на дела благотворительности и на рискованные предприятия, случалось ему лелеять мысль постричься в монахи. В те времена это был самый обычный способ вырваться из запутанных обстоятельств. Но эта мечта, которая так, пожалуй, и осталась бы мечтой на всю жизнь, стала твердым решением в связи с одним происшествием, наиболее серьезным из всех, приключавшихся с ним до той поры.



Однажды в сопровождении двух брави шел он по улицам своего города в обществе некоего Кристофоро, который был когда-то приказчиком в их лавке, а по закрытии ее сделался дворецким. Это был человек лет пятидесяти, смолоду привязанный к Лодовико, которого он знал еще с пеленок. Жалованьем и подарками Лодовико не только давал средства к жизни ему самому, но и помогал содержать и растить его многочисленное семейство. Лодовико издали заметил некоего синьора, завятого и наглого забияку, с которым он за всю свою жизнь не сказал ни слова, но который был его смертельным врагом; впрочем, сам Лодовико от всей души платил ему тем же. Такова уж одна из особенностей этого грешного мира, что в нем люди могут питать взаимную ненависть, не зная друг друга. Сопровождаемый четырьмя брави, этот синьор шел прямо навстречу, гордой походкой, высоко подняв голову, губы его были сжаты в высокомерно-презрительную усмешку. Оба шли вдоль самой стены, но Лодовико – заметьте! – приходился к ней правым боком, а это, согласно обычаю, давало ему право (и куда только не суется право!) не уступать дороги кому бы то ни было – обстоятельству, которому в ту пору придавали большое значение. А тот, наоборот, считал, что это право принадлежит ему, как благородному, и что Лодовико должен идти посредине дороги, – это тоже в силу другого существовавшего обычая. Ибо в данном случае, как это бывает и во многих других делах, рядом действовали два противоречивых обычая, и оставалось нерешенным, который же из них – добрый. Это и служило удобным поводом, чтобы затевать ссору всякий раз, когда чья-либо упрямая голова сталкивалась с другой такой же. Так вот, оба шли навстречу друг другу, прижимаясь к стене, словно две движущиеся фигуры барельефа. Когда они столкнулись лицом к лицу, синьор, смеясь Лодовико презрительным и хмурым взглядом, повелительно сказал ему:

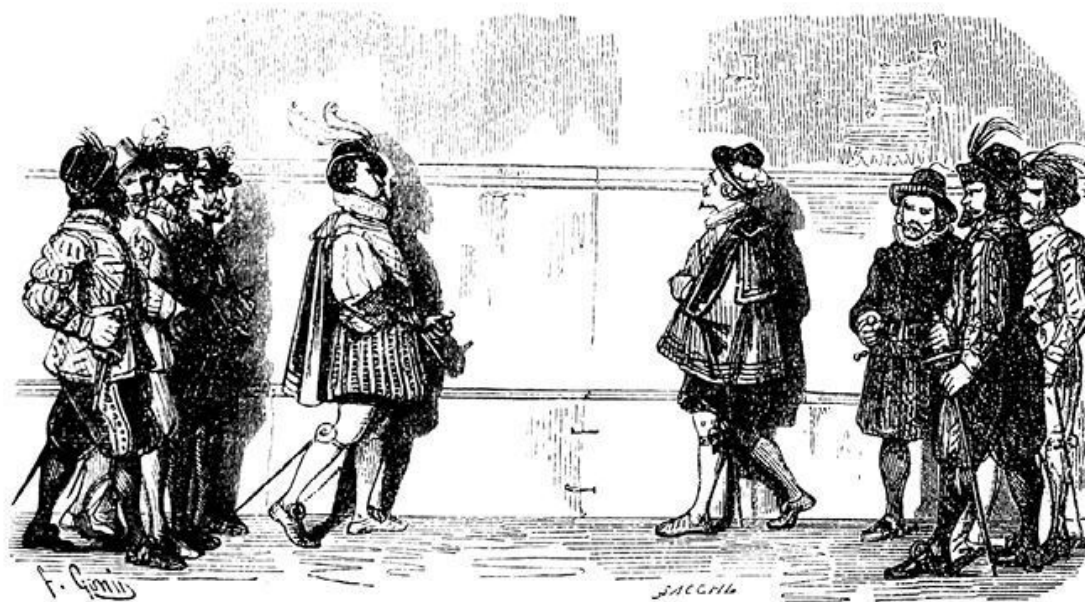
– Посторонитесь!

– Посторонитесь сами, – ответил Лодовико. – Правая сторона моя.

– Ну, с вашим братом она всегда будет моей!

– Конечно, если бы наглость вашей братии была законом для нас.

Брави той и другой стороны остановились, каждый стал позади своего патрона; взявшись за шпаги, поглядывая друг на друга исподлобья, они приготовились к бою. Народ, подходивший с обеих сторон, держась на почтительном расстоянии, смотрел на это зрелище. Присутствие зрителей еще больше раззадоривало соперников.



– На средину, подлый холоп, не то я научу тебя, как обращаться с благородными!

– Ложь, я не подлый!

– Ты лжешь, что я лгу. – Подобный ответ был в духе того времени. – И будь ты благородный, как я, – прибавил синьор, – я шпагой и плащом доказал бы тебе, что ты лжец!

– Хороший предлог уклониться от того, чтобы на деле подтвердить свои наглые речи.

– Бросьте этого бродягу в грязь, – сказал синьор, обращаясь к своим.

– Посмотрим, – ответил Лодовико, быстро шагнув назад и хватаясь за шпагу.

– Наглец! – воскликнул тот, выхватывая из ножен свою. – Я ее сломаю, когда она обогрится твоей кровью.

Так бросились они друг на друга; слуги обеих сторон кинулись на защиту своих господ. Бой был неравным как по численности, так и потому еще, что Лодовико больше старался парировать удары и обезоружить противника, чем убить его, а тот любой ценой добивался смерти Лодовико. Ударом кинжала один из брави ранил Лодовико в левую руку, одна щека его была слегка оцарапана. И главный противник обрушился на него со всей силой, стараясь его прикончить. Тогда Кристофоро, при виде крайней опасности, угрожавшей его покровителю, кинулся с кинжалом в руках на синьора. Последний, обратив всю свою ярость на Кристофоро, пронзил его шпагой. Видя это, Лодовико, словно в испуге, воткнул свою в живот нападающего, и тот упал замертво почти одновременно с бедным Кристофоро. Брави, сообщники синьора, увидев, что дело кончено, бросились бежать; спутники Лодовико, тоже израненные и здорово потрепанные, за отсутствием противника и не желая иметь дела со сбегавшимся отовсюду народом, кинулись в противоположную сторону, – и Лодовико оказался в одиночестве посреди толпы людей, с обоими злополучными товарищами по несчастью, лежавшими у его ног.

– «Чем кончилось?» – «Одного, что ли» – «Да нет, двоих! Как он ему брюхо-то проткнул!» – «Кого убили?» – «Да вон того тирана!» – «Матерь Божья, какие страсти!» – «А не лезь!» – «Раз – да здорово». – «Пришел конец и ему». – «Ну и удар!» – «Дело-то будет серьезное!» – «А другой-то, несчастный!» – «Жалко даже смотреть!» – «Спасите, спасите его!» – «Ему тоже досталось! Ишь как его отделали! Кровь во все стороны так и хлещет». – «Удирайте, удирайте скорей, а то схватят!»

Эти слова, звучавшие над смутным говором толпы, выражали общий приговор; за советом последовала и помощь. Происшествие случилось по соседству с монастырем капуцинов, как известно, убежищем, в ту пору недоступным для полицейских и для всего круга лиц и обстоятельств, который именовался тогда правосудием. Раненый убийца почти в бессознательном состоянии был не то отведен, не то перенесен туда толпою; и братия приняла его из рук народа, который препоручал его со словами: «Это хороший человек, он проучил наглого насильника; ему пришлось защищаться, его силком заставили взяться за оружие».

До этого времени Лодовико ни разу не проливал ничьей крови; и хотя убийство в те времена считалось делом настолько заурядным, что все привыкли слушать рассказы о нем, а то и видеть его собственными глазами, однако впечатление, полученное им при виде человека, отдавшего жизнь за него, и другого человека, умершего от его руки, было для него новым и невыразимым – оно раскрыло в нем незнакомые до той поры чувства. Падение противника, его изменившееся лицо, которое от бешенства и угрозы мгновенно перешло к страданию и величавому спокойствию смерти, – это зрелище разом перевернуло душу убийцы. Когда его притащили в монастырь, он почти не сознавал, где он и что с ним происходит; а когда очнулся, то оказался на больничной койке, в руках брата-хирурга (у капуцинов обычно в каждом монастыре было по хирургу), который накладывал корпию и повязки на обе раны, полученные им в схватке. Монах, имевший специальное назначение напутствовать умирающих и не раз отправлявший свое служение на большой дороге, немедленно был вызван на место битвы. Возвратившись через несколько минут, он вошел в больницу и, подойдя к койке, на которой лежал Лодовико, сказал: «Утешьтесь, – по крайней мере, он умер по-христиански и просил меня вымолить у вас прощение для него и передать вам его прощение». Эти слова окончательно привели в себя несчастного Лодовико, пробудили и оживили те чувства, которые уже раньше смутно бродили в его мятущейся душе: скорбь об утрате друга, ужас и раскаяние при воспоминании о том, что он поднял руку на другого, и вместе с тем мучительное сострадание к убитому им человеку.



- А другой? – тревожно спросил он монаха.
- Другой уже испустил дух, когда я пришел.

Тем временем окрестности и подступы к монастырю кишели любопытными; однако с появлением сбиров толпа рассеялась, расположившись на приличном расстоянии от монастырских ворот, так, однако, что никто не мог выйти из них незамеченным. Один из братьев убитого, два двоюродных брата и дядя-старик явились вооруженные с головы до ног в сопровождении целой свиты бравы и расположились дозором вокруг монастыря, угрожающе жестикую и поглядывая на любопытных, которые хотя и не смели сказать им: «Его оттуда не вернешь», однако это было написано на их лицах.

Как только Лодовико удалось собраться с мыслями, он велел позвать брата-исповедника и попросил его пойти к вдове Кристофоро, попросить от его имени прощения в том, что он стал, хотя и совершенно невольной, все же причиной этого несчастья, и вместе с тем – сказать ей, что он берет на себя заботу о ее семье. Раздумывая дальше о своем положении, он почувствовал, как в нем живет, чем когда-либо, пробуждается не в первый раз уже приходившая ему в голову мысль уйти в монастырь. Ему казалось, что сам Бог указал ему этот путь и явил знамение своей воли, заставив его попасть в монастырь при таких обстоятельствах. И он принял решение. Он попросил позвать настоятеля и поделился с ним своим желанием.

Ответ был, что необдуманных решений следует остерегаться, однако, если он настаивает, отказа ему не будет. Тогда Лодовико приказал позвать нотариуса, продиктовал дарственную на все, что у него оставалось (а состояние оказалось все же довольно изрядным), в пользу семьи Кристофоро, а именно: определенную долю вдове, служившую ей как бы новым приданым, а остальное – восьмерым детям, оставшимся после Кристофоро.

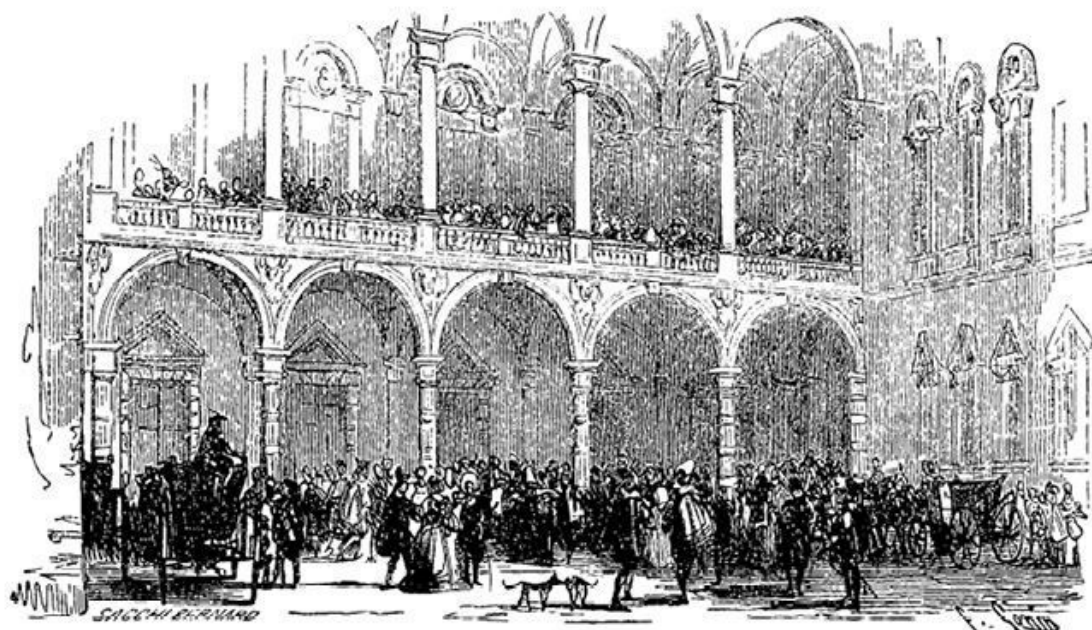
Решение Лодовико пришлось по душе приютившим его монахам, которые попали из-за него в очень щекотливое положение. Отослать его из монастыря и таким путем выдать правосудию, то есть, попросту говоря, врагам на расправу, – такого исхода даже и обсуждать не стали; это значило бы отказаться от всех своих привилегий, уронить монастырь в глазах народа, навлечь на себя порицание капуцинов всего мира за допущение подобного нарушения общего права, пойти против всех церковных властей, считавших себя как бы оплотом этого права. С другой стороны, семья убитого, сама достаточно влиятельная и обладающая связями, задалась целью добиться отмщения и объявила своим врагом всякого, кто попытается воспрепятствовать ей в этом. История умалчивает о том, очень ли родственники скорбели об убитом, равно и о том, была ли пролита по нем хоть одна слеза всей его родней, – история говорит лишь о том, что все они помешались на мысли захватить в свои лапы убийцу живым или мертвым. И вот, облакаясь в одежду капуцина, он тем самым улаживал все. Он, до известной степени, расплачивался, налагая на себя покаяние, и тем самым признавал свою вину, уходил от всякого спора – вообще становился в положение противника, который слагает оружие. Родственники убитого теперь могли, если им было угодно, считать и бахвалиться, что он пошел в монахи с отчаяния, из страха перед их гневом. Во всяком случае, довести человека до такого состояния, что он отказывается от своих богатств, принимает постриг, будет ходить босым, спать на соломенном тюфяке, жить подаянием, – все это могло показаться возмездием в глазах даже самого задиристого гордеца.



Настоятель с непринужденным смирением явился к брату убитого и, после бесчисленных изъявлений уважения к знаменитейшему дому и с выражением желания по мере сил и возможности угодить ему во всем, заговорил о раскаянии Лодовико и о его решении, причем деликатно намекнул, что родичи могли бы удовлетвориться всем этим, а затем, в словах очень мягких и еще более осторожных, дал понять, что такой исход, угодно это им или не угодно, является неизбежным. Брат убитого пришел в бешенство, а капуцин, пережидая, пока тот выдохнется, время от времени повторял: «Горе ваше так понятно». Хозяин дома намекал, что семья убитого так или иначе сумеет добиться удовлетворения, а капуцин, что бы он про себя ни думал, не возражал. В конце концов тот выдвинул определенное требование: убийца его брата должен немедленно покинуть город. Настоятель, который и сам уже решил сделать это, ответил, что так оно и будет, предоставив собеседнику, если ему угодно, видеть в этом проявление покорности. На этом все и кончилось. Все оказались удовлетворенными: и семья, с честью вышедшая из этого дела; и монастырская братия, отстаившая человека и свои привилегии, не нажив при этом врага; и блюстители дворянского достоинства, свидетели столь похвального завершения дела; и народ, который радовался за хорошего человека, выпутавшегося из беды, и вместе с тем восхищался решением Лодовико постричься; и, наконец, удовлетворен был больше всех, при всей своей скорби, сам Лодовико, вступавший в новую жизнь, полную покаяния и служения, которая могла если не исправить, то хоть искупить содеянное зло и заглушить невыносимую боль угрызений совести. На минуту его огорчило подозрение, что решение его станут объяснять страхом, но он тут же утешился при мысли, что и это несправедливое суждение послужит ему карой и средством искупления. И вот, в тридцать лет, облекся он в рубище, и так как, согласно обычаю, ему приходилось отказаться от своего имени и принять новое, то он выбрал такое, которое постоянно напоминало бы ему то, что он должен был искупить, — он назвался фра Кристофоро.

Как только закончился обряд облачения в монашескую одежду, настоятель повелел ему отбывать иску в ***, за шестьдесят миль, и отправиться туда на другой же день. Послушник низко поклонился и попросил единственной милости: «Разрешите мне, падре, перед уходом

из этого города, где я пролил кровь человеческую, где я оставляю семью, жестоко мною обиженную, по крайней мере снять с нее бесчестье, высказать мое сожаление о том, что я не в силах исправить содеянное, попросить прощения у брата убитого и, если Бог благословит мое намерение, снять с души его чувство обиды». Настоятелю показалось, что подобный шаг, уже сам по себе хороший, послужит к дальнейшему примирению семьи убитого с монастырем, – и он тут же отправился к обиженному синьору изложить просьбу фра Кристофоро. Услыхав столь неожиданное предложение, тот вместе с изумлением почувствовал новый прилив негодования, однако не без некоторого благожелательства. Подумав мгновение, он сказал: «Пускай придет завтра» – и назначил время. Настоятель вернулся, принес послушнику желанное согласие.



Синьор сразу сообразил, что чем торжественнее и шумнее совершится вся эта церемония, тем больше возрастет его престиж в глазах родни и всего общества и получится (если выразиться с современной изысканностью) «яркая страница в истории семьи». Он поспешно оповестил всех родственников, чтобы они завтра в полдень соблаговолили (так говорили в то время) прибыть к нему для получения общего удовлетворения. В полдень во дворце теснились господа всякого пола и возраста: люди разгуливали взад и вперед, мелькали парадные плащи, длинные перья, висящие дурлинданы, плавно колыхались накрахмаленные плоеные воротники, влачились, путаясь шлейфами, пестрые мантии. В прихожих, во дворе и на улице – целый муравейник слуг, пажей, брави и любопытных. Фра Кристофоро, увидя весь этот парад, догадался о его причине и слегка смутился было, но тут же сказал себе: «Пусть так, я убил его на людях, в присутствии многочисленных врагов, за мое бесчестье – теперь расплата».

В сопровождении отца настоятеля, смиренно опустив глаза, прошел он в ворота дома, через весь двор, сквозь толпу, разглядывавшую его с бесцеремонным любопытством, взшел на лестницу и, пройдя через другую толпу – из синьоров, расступившихся при его проходе, – предстал перед главой рода. Сотни глаз были устремлены на него. Окруженный ближайшими родственниками, хозяин стоял посреди залы. Глаза его были потуплены в землю, но подбородок вздернут кверху, левая рука лежала на эфесе шпаги, а правую он судорожно сжимал на груди воротник своего плаща. Бывает порою в лице и во всей позе человека такая безыскусственная выразительность, такое, можно сказать, отражение его души, что в толпе зрителей создается единогласное суждение об этой душе. Лицо и поза фра Кристофоро ясно гово-

рили присутствующим, что не из свойственного человеку страха сделался он монахом и пошел на теперешнее унижение, – и это положило начало общему примирению с ним. Увидя оскорбленного, он ускорил шаги, стал на колени у его ног, скрестил на груди руки и, низко опустив коротко остриженную голову, произнес: «Я убийца вашего брата; Господь ведает, как хотелось бы мне вернуть его вам ценою собственной крови; но я могу принести вам лишь бесполезные и запоздалые извинения и умоляю вас принять их Бога ради». Глаза всех усталились на послушника и на лицо, к которому он обращался; все напряженно слушали. Когда фра Кристофоро умолк, по всей зале пронесся шепот сострадания и одобрения. Синьор, стоявший в позе деланого снисхождения и сдерживаемого гнева, пришел в смущение от этих слов и, нагибаясь к коленопреклоненному, сказал изменившимся голосом:

– Встаньте... оскорбление... конечно, дело несомненное... но одеяние ваше... да не только это... но и ради вас самих... Встаньте, падре... Брат мой... не стану отрицать этого... был рыцарь... был человек... несколько вспыльчивый... несколько горячий. Однако все совершается по Божьему соизволению. Не будем больше говорить об этом... Но, падре, не подобает вам быть в таком положении. – И, взяв под руки, он поднял его.



Став на ноги, но все еще с опущенной головой, фра Кристофоро отвечал:

– Так я могу, стало быть, надеяться, что вы даруете мне прощение? А если я получу его от вас, кто же еще сможет отказать мне в нем? О, если бы я мог услышать из уст ваших это слово – прощение!

– Прощение? Вы в нем больше не нуждаетесь. Но все же, раз вы так хотите, то, разумеется, разумеется, я прощаю вас от всего сердца, да и мы все...

– Все, все! – в один голос подхватили присутствующие.

Лицо монаха озарилось благодарною радостью, сквозь которую все же просвечивало смирение и глубокое сожаление о том зле, исправить которое не в силах было никакое человеческое отпущение. Сраженный этим зрелищем и охваченный общим волнением, хозяин заключил монаха в объятия, и они братски облобызались.

– Молодчина! Отлично! – раздалось со всех концов залы, все сразу двинулись и окружили монаха.

Тем временем появились слуги, неся обильное угощение. Хозяин приблизился к нашему Кристофоро, который явно собирался уйти, и сказал ему:

– Падре, отведайте хоть немного, явите мне этот знак вашего расположения!

И он принялся угощать его первым. Но тот, отступая и дружески отказываясь от угощения, ответил:

– Все это теперь не для меня; однако я нимало не хочу отвергнуть ваши дары. Я собираюсь в дальний путь, так прикажите подать мне хлеба, и я смогу тогда говорить, что пользовался вашей милостыней, ел хлеб ваш – знак прощения.

Растроганный хозяин так и велел сделать, и через минуту появился слуга в парадной livree, неся на серебряном блюде хлеб, и поднес его монаху; тот взял его и, поблагодарив, положил в суму. После этого он попросил разрешения удалиться; еще раз обнявшись с хозяином дома и со всеми, кто стоял неподалеку и успел на мгновение приблизиться к нему, он с трудом вырвался от них; пришлось ему выдержать целое сражение и в передних, чтобы отделаться от слуг и даже от брави, которые целовали края его одежды, вервие, капюшон; наконец выбрался он на улицу; огромная толпа народа словно в триумфе понесла его на руках и провожала до городских ворот, через которые он и вышел, начиная свой пеший путь к месту послушничества.

Брат убитого и все родственники, собиравшиеся в этот день отведать горького упоения гордыней, вместо этого оказались преисполненными сладкой радости прощения и благожелательности. Общество, с непривычной для него сердечностью и простодушием, провело еще некоторое время в беседе, к которой никто не был подготовлен, идя на сборище. Вместо обсуждения итогов мстительной расправы и восторгов от сознания выполненного долга предметом разговора служили похвалы послушнику, примирение, кротость. И тот, кто в пятидесятый раз собирался рассказать о том, как отец его, граф Муцио, в знаменитом столкновении сумел образумить маркиза Станислав, всем известного фанфарона, рассказал теперь о покаянии и изумительном терпении некоего фра Симоне, умершего много лет тому назад. А когда общество разошлось, хозяин, все еще взволнованный, с изумлением припоминал то, что он слышал и что говорил сам, и при этом цедил сквозь зубы: «Ну и дьявол же этот монах (нам приходится приводить точные его слова), прямо дьявол! Ведь не встань он с колен еще несколько минут, я, чего доброго, пожалуй, стал бы сам просить у него прощения за то, что он убил моего брата». История наша определенно отмечает, что с этого дня и впредь синьор этот стал менее свирепым и несколько более обходительным.

Падре Кристофоро шел по дороге с чувством утешения, какого ни разу не испытал после того ужасного дня, искуплению которого отныне должна была быть посвящена вся его жизнь. И молчание, предписанное послушникам, он соблюдал незаметно для себя, весь погруженный в размышления о трудах, лишениях и унижениях, которые он готов был претерпеть, лишь бы искупить свой грех. Остановившись в час трапезы у одного благодетеля, он с каким-то особым наслаждением вкусил от хлеба прощения, но приберег кусок и спрятал его в суму, чтобы сохранить как постоянное напоминание.

В наши намерения не входит рассказывать историю его монастырской жизни, скажем только, что, отправляя всегда с большой охотой и огромным усердием все обычно на него налагавшиеся обязанности по части проповеди и утешения умирающих, он никогда не упускал случая выполнить две другие, добровольно принятые им на себя: примирение враждую-

щих и защиту угнетенных. В этой склонности каким-то путем, помимо его воли, проявлялись прежние наклонности Лодовико и едва уловимый пережиток воинственного пыла, который никакое смирение и умерщвление плоти не могло окончательно погасить в нем. Речь его была обычно сдержанной и смиренной, но, когда дело шло о поправленной справедливости, в нем сразу пробуждался прежний его дух, поддерживаемый и умеряемый тем величавым подъемом, который выработался у него от постоянной привычки произносить проповеди; это придавало его речи особое своеобразие. Вся его осанка, как и наружность, свидетельствовала о долгой борьбе пылкого, вспыльчивого темперамента с упорной волей, обычно бравшей верх, вечно настроенной и всегда направляемой высшими соображениями и побуждениями. Один из собратий и друзей падре Кристофоро, хорошо его знавший, сравнил его однажды с теми чересчур выразительными в исконной своей форме словами, которые в минуту разгоревшейся страсти произносятся иными, даже благовоспитанными людьми, в сокращенном виде, с изменением некоторых букв, что не мешает этим словам даже в таком замаскированном виде сохранять некоторую долю своей первобытной выразительности.



Если бы какая-нибудь безвестная бедняжка, очутившись в прискорбном положении Лючии, обратилась за помощью к падре Кристофоро, он и тогда отозвался бы немедленно. А раз дело касалось Лючии, то он поспешил тем скорее, что давно знал и ценил ее чистоту, не раз уже подумывал о грозящей ей опасности и приходил в благородное негодование от того гнусного преследования, предметом которого она сделалась. Кроме того, он же все время и советовал ей, как наименьшее зло, ничего никому не говорить, держаться спокойно и теперь боялся, как бы его совет не имел каких-либо печальных последствий; животворящее милосердие, присущее ему как бы от рождения, осложнялось в данном случае щепетильной тревогой, которая так часто мучит людей добрых.

Однако, пока мы рассказывали о судьбе падре Кристофоро, он уже успел дойти и показаться в дверях; обе женщины, бросив ручки мотовила, которые с жужжанием вертелись у них под руками, поднялись с места и в один голос сказали: «А, падре Кристофоро! Да благословит вас Господь!»

Глава пятая



Падре Кристофоро остановился на пороге и, бросив взгляд на женщин, сразу понял, что предчувствие не обмануло его. Поэтому, слегка откинув голову назад, он спросил тоном, который уже шел навстречу неутешительному ответу:

– Что скажете?

В ответ Лючия залилась слезами. Мать стала извиняться за то, что она, мол, посмела... Но монах подошел ближе и, усевшись на трехногий табурет, прервал извинения, обращаясь к Лючии:

– Успокойтесь, бедное дитя! А вы, – сказал он Аньезе, – расскажите мне, в чем дело.

Пока бедная женщина старалась как можно понятнее рассказать ему о своем горе, монах все время менялся в лице: он то поднимал глаза к небу, то топал ногами. К концу рассказа он закрыл лицо руками и воскликнул:

– Боже милостивый! До каких же пор!.. – Но не закончил фразы и снова, обращаясь к женщинам, сказал: – Бедняжки! Взыскал вас Господь. Бедная Лючия!

– Ведь не бросите же вы нас, падре? – спросила, рыдая, Лючия.

– Бросить вас? – ответил он. – А с каким же лицом стал бы я просить у Бога чего-нибудь для себя, если бы бросил вас? В таком-то положении! Да еще когда сам Господь поручает вас мне! Не падайте духом. Он вам поможет, – он все видит, – он может воспользоваться и таким ничтожным человеком, как я, чтобы посрамить какого-нибудь... Посмотрим, подумаем, что можно сделать.

Сказав это, он оперся левым локтем о колено, склонил чело на ладонь, а правой рукой зажал бороду и подбородок, словно желая собрать воедино все свои душевные силы. Однако самое напряженное размышление привело его лишь к тому, что он яснее осознал, насколько срочно и как запутанно это дело и с какими трудностями и опасностями связан выход из подобного положения. «Пристыдить дону Абондио, заставить его почувствовать, насколько он грешит против своего долга? Но ведь стыд и долг для него ничто, когда он во власти страха. Или припугнуть его? Да и есть ли у меня средство, чтобы заставить его бояться больше, чем боится он выстрела? Осведомить обо всем кардинала-архиепископа и прибегнуть к его авторитету? На это нужно время – а что же пока? И что потом? Даже если бы бедняжка была обвенчана, разве это могло бы послужить препятствием для такого человека? Кто знает, до чего он способен дойти?.. Бороться с ним? Но как? Эх, – подумал несчастный монах, – если бы я мог подбить на это дело свою братию, здешнюю и миланскую! Но что поделаешь? Дело это не представляет общественного интереса, все равно я бы остался в одиночестве. Ведь человек этот разыгрывает роль друга нашего монастыря, выдает себя сторонником капуцинов, – и разве его бравы частенько не приходили искать у нас убежища? Придется все расхлебывать мне одному; да вдобавок прослышешь беспокойным человеком, кляузником и интриганом, – более того: несвоевременной попыткой я бы мог, чего доброго, еще ухудшить положение этой бедняжки».

Сопоставив все, что было за и против того и другого решения, он пришел к выводу, что лучше всего пойти прямо к дону Родриго, попытаться отговорить его от бесстыдного намерения мольбами, угрозой мук в загробной жизни, а то и в земной, если это возможно. Во всяком случае, этим путем удастся по крайней мере точнее узнать, насколько упорствует он в своей гнусной затее, полнее раскрыть его намерения и уж с этим сообразовываться.

Пока монах был занят размышлениями, в дверях показался Ренцо; по причинам, о которых всякий легко догадается, его все время тянуло к этому дому. Однако, увидев монаха, погруженного в размышления, и женщин, которые подавали знаки не беспокоить его, Ренцо молча остановился на пороге. Подняв голову, чтобы сообщить женщинам свои предположения, монах заметил его и поздоровался с обычной сердечностью, усиленной чувством сострадания.

– Рассказали они вам, падре? – взволнованным голосом спросил Ренцо.

– О да! Потому-то я и здесь.

– Что вы скажете об этом негодяе?

– А что же мне о нем сказать? Ведь он здесь меня не услышит, – какой же будет толк от моих слов? А тебе, милый мой Ренцо, я вот что скажу: предайся Богу, и Бог не оставит тебя.

– Святые слова ваши! – воскликнул юноша. – Вы не из тех, кто всегда считает бедного виноватым. А вот наш синьор курато и этот незадачливый адвокат проигранных дел...



– Не надо копаться в том, что ведет к одному лишь напрасному беспокойству. Я скромный монах, но повторяю тебе то, что сказал этим женщинам: насколько хватит моих сил, я вас не оставлю.

– Да, вы не такой, как друзья-миряне. Болтуны! Уж каких только заверений они мне не делали в хорошие времена! Ну и ну! Они-де готовы кровь свою отдать за меня, станут поддерживать меня хоть против самого дьявола. Объявись у меня какой-нибудь враг, так дай я только знать об этом – тут же ему и крышка! А теперь, если бы вы видели, как они все отлынивают... – Тут, подняв глаза на монаха, Ренцо по нахмуренному лицу его догадался, что сказал что-то невпопад. Желая поправить дело, он, однако, запутывался все больше и больше. – Я хотел сказать... я вовсе не думаю... то есть я хотел сказать...

– Что ты хотел сказать? Ну что? Ты, значит, принялся портить мне все дело, прежде чем оно начато! Тем лучше для тебя, что ты разуверился вовремя... Ведь ты пошел искать друзей... каких друзей? Которые не могли бы помочь тебе при всем своем желании... И чуть было не потерял того, кто и хочет и может помочь тебе. Разве ты не знаешь, что Господь – друг всех угнетенных, уповающих на него? Разве ты не знаешь, что слабый, показывая когти, ничего не выигрывает? И даже если бы... – тут он крепко схватил Ренцо за руку. Лицо его, сохраняя свою властность, отразило какое-то величавое сокрушение, он потупил взор, речь его замедлилась, голос звучал глухо, словно из-под земли, – даже если бы... это – страшное дело! Ренцо, хочешь ли ты положиться на меня? Да что я говорю – на меня, ничтожного человечешку, грешного служку, – хочешь ли ты положиться на Бога?

– О, конечно, – ответил Ренцо. – Он – Господь истинный.

– Так вот, обещай же, что ты не будешь добиваться встречи с врагом, не будешь никому бросать вызова, а всецело доверишься мне.

– Обещаю.

Лючия глубоко вздохнула, словно у нее гора с плеч свалилась. А Аньезе сказала:

– Молодец, сынок.

– Слушайте, дети мои, – снова начал падре Кристофоро. – Я сегодня же поговорю с этим человеком. Если Господь тронет его сердце и придаст силы моим словам – хорошо, если же нет, он поможет нам найти какой-нибудь иной путь. А вы тем временем держитесь подальше ото всех, избегайте сплетен, не показывайтесь никому на глаза. Нынче вечером либо завтра утром, никак не позднее, я буду у вас.

Сказав это, он ушел, решительно отклонив всякую благодарность и благословения.

Он направился в монастырь, поспел как раз к шестому часу, чтобы принять участие в пении молитв, пообедал и тотчас же пустился в путь к берлоге зверя, которого хотел попытаться укротить.

Небольшое палаццо дона Родриго одиноко высилось наподобие горной крепости на вершине одного из холмов, тут и там разбросанных по всему побережью. К этому указанию анонимный автор прибавляет, что означенное место (лучше было бы ему прямо написать самое название) лежало выше деревушки наших обрученных, на расстоянии примерно трех миль от нее и в четырех милях от монастыря. У подножия холма, с южной стороны и лицом к озеру, стояла небольшая кучка ветхих домиков, населенных крестьянами дона Родриго, – это была своего рода маленькая столица маленького его царства. Достаточно было пройти по ней, чтобы составить себе представление об условиях существования и обычаях этого селения. Бросив взгляд в комнаты нижнего этажа, двери которого иногда стояли открытыми, можно было увидеть развешанные по стенам ружья, пищали, мотыги, грабли, соломенные шляпы, сетки и пороховницы – все вперемежку. Люди, попадавшиеся навстречу, были грубые, приземистые и хмурые, с огромными чубами, покрытыми сеткой; беззубые старики, казалось, всегда были готовы оскалить десны, попробуй только чуть-чуть подразнить их; мужеподобные женщины с мускулистыми руками, которые, казалось, готовы были прийти на помощь языку, если последнего не хватит; даже в наружности и движениях детей, игравших на улице, сквозило что-то дерзкое, вызывающее.

Фра Кристофоро прошел деревушку, поднялся по извилистой тропинке и очутился на тесной площадке прямо перед небольшим палаццо. Двери были заперты – знак того, что хозяин обедал и не желал, чтобы его беспокоили. Редкие и небольшие окна, выходившие на улицу, закрытые ветхими, изъеденными временем ставнями, защищены были, однако, толстыми железными решетками, а окна нижнего этажа были на такой высоте, что до них едва ли мог добраться человек, вставший на плечи другого.



Внутри царил полная тишина; прохожий мог бы подумать, что дом этот заброшен, если бы четыре существа, два живых и два мертвых, симметрично расположенных снаружи, не свидетельствовали о присутствии в нем обитателей. Два огромных коршуна, с распростертыми крыльями и повисшими головами, один – бесперый и наполовину источенный непогодой, другой – еще целый и пернатый, были пригвождены к обеим створкам ворот; и два брави, каждый растянувшись на одной из скамеек справа и слева от входа, сторожили его, выжидая, когда их позовут насладиться обедами с господского стола. Монах остановился в позе человека, приготовившегося ждать, но один из брави поднялся и сказал ему: «Идите, идите сюда, падре; у нас капуцинов не заставляют ждать, мы ведь в дружбе с монастырем; я сам, бывало, жила в нем не раз, когда пребывание на воле было мне не очень приятно, и плохо пришлось бы мне, если бы ворота монастыря оказались передо мною закрытыми». Говоря так, он дважды стукнул дверным молотком. В ответ изнутри сразу раздался вой и лай овчарок и шавок, и через несколько мгновений с ворчанием вышел старый слуга; однако, увидя монаха, он отвесил низкий поклон, руками и окриками унял собак, пригласил гостя в тесный дворик и запер за собой дверь. Проводив его затем в небольшую комнату и глядя на него не без некоторого удивления и почтительности, он сказал:

– Вы не падре ли Кристофоро из Пескаренико?

– Он самый.

– Вы – и здесь?

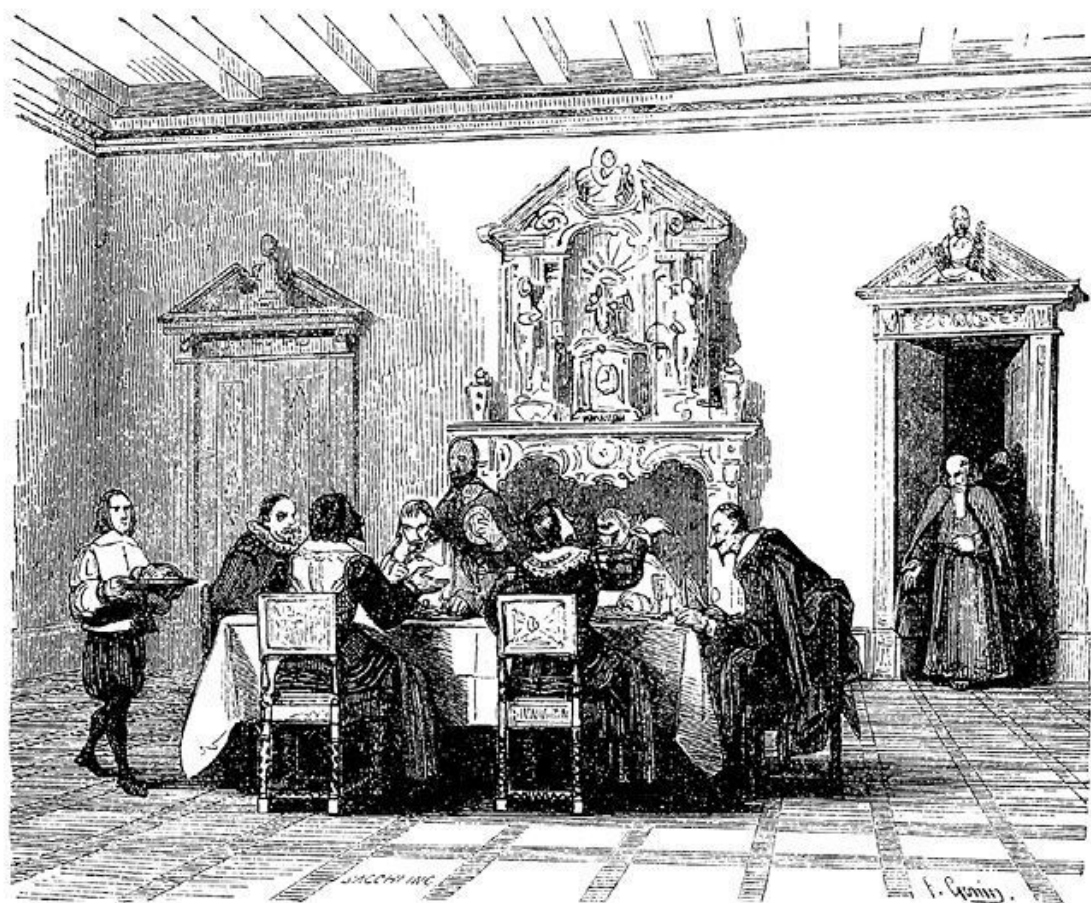
– Как видите, добрый человек.

– Видно, по хорошему делу, по хорошему, – продолжал старик, бормоча себе под нос и идя дальше, – добро везде можно делать.

Пройдя еще две-три темные комнаты, они подошли к входу в столовую. Здесь их встретил смешанный стук вилок, ножей, стаканов, тарелок, а поверх всего гул нестройных голосов, силившихся перекричать друг друга. Монах хотел было удалиться и заспорил у самых дверей со слугой, чтобы получить возможность переждать в каком-нибудь уголке, пока кончится обед, – но тут дверь открылась, и некий граф Аттилио, сидевший против входа (это был двоюродный брат хозяина, и мы уже упоминали о нем, не называя по имени), увидя бритую голову и монашескую сутану и поняв скромные намерения смиренного старца, заорал: «Эй, эй! Куда же вы, достопочтенный падре? Пожалуйста, пожалуйста сюда!»

Дон Родриго, хоть и не мог в точности догадаться о причинах этого посещения, однако по какому-то смутному предчувствию, вероятно, не прочь был уклониться от него. Но так как легкомысленный Аттилио уже столь громогласно пригласил гостя, то и хозяину не приходилось отступать, и он сказал в свою очередь: «Идите, идите сюда, падре». Монах подошел, кланяясь дону Родриго и отвечая жестами обеих рук на приветствия сотрапезников.





Честный человек, стоящий перед злонамеренным, обычно представляется нам (не скажу – всем) с высоко поднятым челом, твердым взглядом, выпяченной грудью, хорошо подвешенным языком. Однако в действительности для подобной позы требуется такое стечение обстоятельств, какое случается довольно редко. А потому не удивляйтесь, что фра Кристофоро, при всей чистоте своей совести и твердой уверенности в правоте защищаемого им дела, испытывая смешанное чувство ужаса и сострадания к дону Родриго, стоял перед последним с каким-то смиренным и почтительным видом: перед тем самым доном Родриго, который сидел за столом, в собственном доме, в собственном царстве, окруженный друзьями, изъявлениями уважения и всякими знаками своего могущества, с таким выражением лица, перед которым на устах у любого замерла бы всякая мольба, не говоря уже об увещании, наставлении или укорах. По правую его руку сидел упомянутый граф Аттилио, его двоюродный брат. Нужно ли говорить об этом его товарище по распутству и насилию, прибывшем из Милана погостить у него несколько дней? По левую руку и по другую сторону стола сидел с великой почтительностью, однако не без выражения некоторого самодовольства, синьор подеста, тот самый, которому теоретически надлежало бы вступить за Ренцо Трамально и подвергнуть дону Родриго взысканию, согласно тому, что было упомянуто выше. Напротив подеста, с видом раболепнейшего почтения, сидел наш доктор Крючкотвор в черном плаще и с носом краснее обычного; а напротив обоих кузенов находились два незначительных безличных персонажа, про которых наша история говорит только то, что они все время ели, кивали головами и, усмехаясь, выражали одобрение всему, что бы ни сказал любой из сотрапезников, если это только не встречало возражений с чьей-либо стороны.

– Подать падре стул! – сказал дон Родриго.

Слуга подставил стул, на который и уселся падре Кристофоро, извиняясь перед хозяином за то, что пришел не вовремя.

– Мне очень хотелось бы, с вашего позволения, поговорить с вами с глазу на глаз по важному делу, – прибавил он, понизив голос, на ухо дону Родриго.

– Хорошо, хорошо, позже поговорим, – ответил тот, – а пока подайте-ка падре вина.

Монах хотел было уклониться. Но дон Родриго, возвысив голос среди вновь поднявшегося шума, заорал:

– Нет, черт возьми, уж от этой обиды вы меня избавьте – никогда этого не будет, чтобы капуцин вышел из моего дома, не попробовав вина, или чтобы наглый заимодавец ушел отсюда, не отведав палок из моей рощи!

Слова эти вызвали всеобщий хохот и на мгновение прервали горячий спор, который шел между сотрапезниками. Слуга, принеся на подносе сосуд с вином и высокий стеклянный стакан в форме бокала, подал его монаху. Последний, не желая перечить столь настойчивому угощению со стороны человека, чью благосклонность было так важно приобрести, тут же наполнил стакан и стал медленно прихлебывать вино.

– Авторитет Тассо не поддерживает вашего утверждения, уважаемый синьор подеста; наоборот, он говорит против вас! – орал во все горло граф Аттилио. – Ибо этот ученый, этот великий муж, который знал все правила чести как свои пять пальцев, заставляет Аргантова посланца, прежде чем бросить вызов рыцарям-христианам, испрашивать на то разрешение у благочестивого герцога Бульонского...

– Но ведь это же преувеличение! – вопил не менее зычным голосом подеста. – Просто преувеличение, поэтическое украшение, потому что посланец, согласно международному праву, *jure gentium*, является неприкосновенным по самой своей природе; да незачем и далеко ходить, ведь говорит же пословица: «Посол вины на себе не несет». Пословицы же, синьор граф, – сама мудрость рода человеческого. И так как посланец от своего имени не сказал ничего, а только передал вызов в письменной форме...

– Но когда же вы наконец поймете, что посланец этот был просто наглый осел, который не знал самых основных...

– С вашего позволения, уважаемые синьоры, – вмешался дон Родриго, которому не хотелось, чтобы спор заходил слишком далеко, – передадим спор на разрешение падре Кристофоро, и пусть будет, как он скажет.

– Хорошо, очень хорошо, – сказал граф Аттилио, которому показалось очень забавным передать вопрос о рыцарской чести на разрешение капуцину, между тем как подеста, горячо принимавший к сердцу этот спор, с трудом утихомирился, а выражение его лица говорило: «Какое же ребячество!»

– Однако же, насколько я понял дело, – сказал монах, – в этих вещах я мало смыслю.

– Это обычные ваши монашеские отговорки, из скромности, – сказал дон Родриго. – Чего там! Мы же отлично знаем, что вы родились на свет не с капюшоном на голове и знавали этот самый свет. Так вот: вопрос такой...

– Послушайте, дело вот в чем, – начал было кричать граф Аттилио.

– Дайте сказать мне, кузен, как лицу нейтральному, – перебил его дон Родриго. – История такова: испанский кавалер шлет вызов миланскому кавалеру. Податель, не застав вызываемого дома, вручает вызов брату кавалера; тот читает его и в ответ избивает подателя палкой. Спрашивается...

– Так и следовало! – заорал граф Аттилио. – Это было подлинное вдохновение!

– ...нечистой силы, – добавил подеста. – Избить посла! Священное лицо! Я думаю, и вы, падре, согласитесь с тем, что это не рыцарский поступок.

– Нет, синьор, именно рыцарский! – кричал граф. – И позвольте сказать это мне, знающему толк в том, что подобает рыцарю. Если бы кулаками, тогда другое дело, а палка ничьих

рук не марают. Одного лишь я не понимаю: чего вы так волнуетесь из-за спины какого-то обрванца?

– Да кто вам говорит о спине, синьор граф? Вы мне приписываете глупости, какие никогда мне и в голову не приходили. Я говорил о действиях данного лица, а не о спине. Я имел в виду главным образом международное право. Скажите-ка мне, пожалуйста, разве фециалы, которых древние римляне посылали с объявлением войны другим народам, испрашивали разрешение, прежде чем изложить свое поручение? И найдите-ка мне писателя, у которого упоминалось бы о том, что фециала когда-либо подвергли избиению палками.

– Какое нам дело до официальных лиц древних римлян? Это люди, которые поступали попросту и в этих вопросах были отсталыми – да, совершенно отсталыми! Согласно же правилам современного рыцарства, которое является истинным, я заявляю и настаиваю, что посланец, осмелившийся вручить рыцарю вызов, не испросив на то его позволения, является наглецом, то есть прикосновеннейшим из прикосновенных, и его следует бить да бить, пока сил хватит!

– Да вы мне ответьте на следующий силлогизм...

– Не желаю, не желаю и еще раз не желаю!

– Да вы только послушайте, послушайте! Побить безоружного – поступок вероломный: *atqui*³ посланец, *de quo*⁴ был безоружен; *ergo*...⁵

– Потихе, потихе, синьор подеста!

– Да что потихе?

– Потихе, говорю я вам: что вы мне только что сказали? Вероломный поступок – это поразить кого-нибудь шпагой сзади или выстрелить в спину, да и то могут быть такие случаи... Впрочем, не станем удаляться от предмета нашего спора. Я готов согласиться, что, вообще говоря, это можно назвать вероломным поступком; но ударить раза три-четыре палкой проходимца! Что ж, по-вашему, надо сказать ему: «Берегись, дружок, я тебя отколочу», так же как вы сказали бы благородному человеку: «Защищайтесь»? А вы, достопочтенный синьор доктор, вместо того чтобы одобрительно улыбаться по моему адресу и давать понять, что разделяете мое мнение, почему вы не поддерживаете моих доводов своим языком – благо он у вас хорошо подвешен, – чтобы помочь мне убедить этого синьора?

– Да я... – не без смущения отвечал доктор, – я наслаждаюсь этим ученым диспутом и благодарю счастливый случай, который дал повод к столь изящному поединку умов. Да и не мое дело выносить решение: ваша милость уже назначили судью... вот, в лице падре...

– Верно, – сказал дон Родриго, – но как же вы хотите, чтобы судья говорил, когда спорщики не желают замолчать?

– Умолкаю, – сказал граф Аттилио.

Подеста сжал губы и поднял руку, как бы в знак повиновения.

– Слава тебе господи! А теперь слово за вами, падре, – сказал дон Родриго с полунасмешливой серьезностью.

– Ведь я уже извинялся, я же говорил, что ничего не смыслю по этой части, – отвечал фра Кристофоро, отдавая стакан слуге.

– Извинения неуместны, – закричали оба кузена, – мы требуем вашего решения!

– Коли так, – продолжал монах, – по моему крайнему разумению, хотелось бы, чтобы вовсе не было ни вызовов, ни посланцев, ни палочных ударов.

Сотрапезники изумленно переглянулись.

³ Однако же (*лат.*).

⁴ О котором идет речь (*лат.*).

⁵ Следовательно (*лат.*).

– Это уж слишком, – сказал граф Аттилио. – Простите меня, падре, но это слишком. Сразу видно, что вы не знаете света.

– Он-то не знает? – отозвался дон Родриго. – Позвольте мне сказать вам: знает, милый мой, и не хуже вас. Не так ли, падре? Скажите-ка, скажите нам, разве вы в свое время не куролесили?

Вместо ответа на столь любезный вопрос, монах обратился к самому себе: «Это относится уже лично к тебе; но помни, брат, что ты здесь не ради себя самого и все, что касается тебя одного, в счет не идет».

– Пусть так, – сказал граф Аттилио. – Однако, падре... А как зовут падре?

– Падре Кристофоро, – ответило сразу несколько голосов.

– Но, падре Кристофоро, достопочтеннейший мой покровитель, такими правилами вы, пожалуй, перевернете вверх ногами весь мир. Без вызовов! Без палок! Прощай всякая честь – проходимцам полная безнаказанность! К счастью, это невозможно.

– Смелее, доктор! – выпалил дон Родриго, которому все больше хотелось вывести из спора двух его зачинщиков. – Смелее! Вы ведь стоите на том, чтобы всех признавать правыми. Посмотрим, как вы ухитритесь в данном случае признать правым падре Кристофоро.

– По правде говоря, – отвечал доктор, размахивая вилкой и обращаясь к монаху, – по правде говоря, я никак не могу понять, как это падре Кристофоро, будучи одновременно и истинным монахом, и светским человеком, не подумал о том, что подобный взгляд, сам по себе верный, похвальный и вполне уместный для амвона, – да будет мне позволено сказать, – не имеет никакого значения в споре о вопросах чести. Но падре лучше меня знает, что все хорошо на своем месте, и я думаю, что на сей раз, прибегнув к шутке, он просто хотел отделаться от затруднительной необходимости высказать свое мнение. Что можно было отвечать на доводы, подкрепленные мудростью столь старинной и все же вечно новой? Ничего. Так падре наш и поступил.



А дон Родриго, чтобы покончить с этим вопросом, поднял другой:

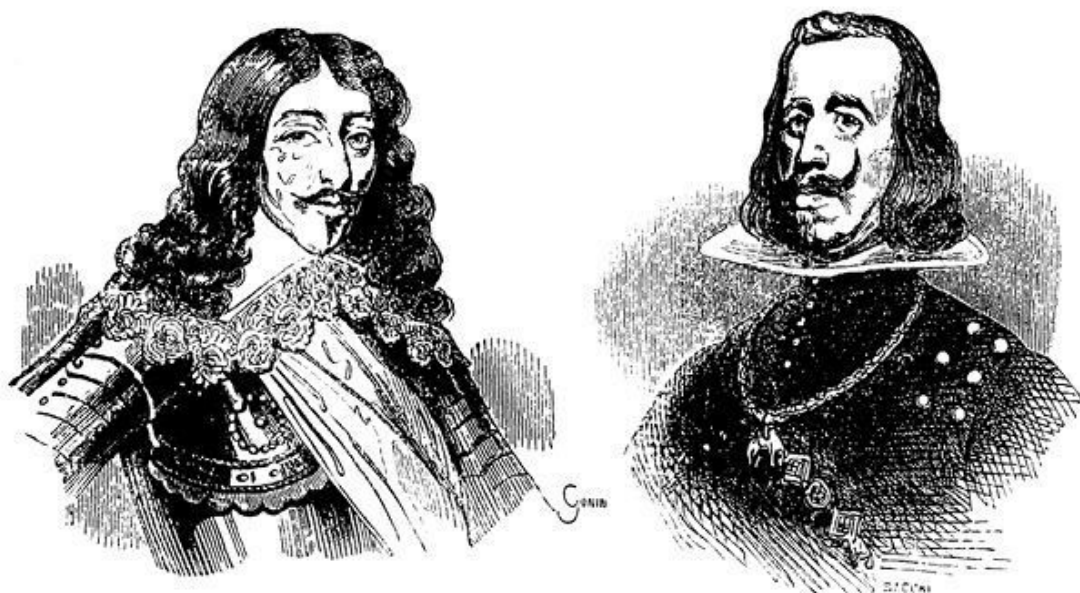
– Да, кстати, – сказал он, – я слышал, что в Милане ходят слухи о соглашении.

Читатель знает, что в тот год шла борьба из-за наследования герцогства Мантуи, во владение которым, по смерти Винченцо Гонзаги, не оставившего законного потомства, вступил герцог Неверский, ближайший его родственник. Людовик XIII или, вернее сказать, кардинал Ришелье поддерживал этого государя, натурализованного француза, к которому он благово-

лил, а Филипп IV или, вернее сказать, граф Оливарес (его обычно звали граф-герцог) по тем же соображениям не желал видеть его властелином Мантуи и объявил ему войну. А так как к тому же герцогство это являлось имперским леном, то обе стороны пускали в ход всевозможные интриги и угрозы, первая – чтобы добиться от императора Фердинанда II согласия на инвеституру нового герцога, а вторая – чтобы добиться отказа от нее и даже поддержки для изгнания герцога Неверского из государства.

– Я склонен думать, – сказал граф Аттилио, – что дела эти могут уладиться. По некоторым верным признакам...

– Не верьте, синьор граф, не верьте, – прервал подеста. – Я здесь, в этой глуши, имею возможность знать все обстоятельства, потому что синьор кастеллан, испанец, который по доброте своей благоволит ко мне и, будучи сыном одного любимца графа-герцога, отлично осведомлен обо всем...



– А я говорю вам, что мне ежедневно приходится беседовать в Милане с целым рядом лиц, и я знаю из надежных источников, что папа, весьма заинтересованный в деле мира, выступил с предложениями...

– Так и должно быть, таков уж порядок: его святейшество выполняет свой долг; папа всегда должен стараться, чтобы христианские государи жили в мире; но у графа-герцога – своя политика, и...

– И, и... и откуда вам знать, синьор мой, что в данный момент думает император? Или вы полагаете, что на свете ничего уж и нет, кроме вашей Мантуи? Таких дел, о которых приходится думать, очень много, синьор мой! Знаете ли вы, например, до какой степени император может в настоящее время полагаться на этого своего князя Вальдиано, или Валлистаи, что ли, или как там его зовут, и...

– Настоящее его имя, – еще раз вмешался подеста, – на немецком языке Вальенштейно, я сам слышал, так не раз называл его наш синьор кастеллан, испанец. Но, однако, будьте уверены, что...

– Вы хотите меня учить? – прервал его граф, но дон Родриго подмигнул ему, давая понять, чтобы он, ради него, Родриго, перестал перечить.

Граф замолчал, а подеста, подобно снятому с мели кораблю, дал ход своему красноречию и помчался на всех парусах:

– Вальенштейно мало меня беспокоит, потому что граф-герцог видит всё и вся, и если Вальенштейно вздумает дурить, он сумеет его направить на путь истинный – не добром, так силой. Он, повторяю, все видит, и руки у него длинные. И если уж он, как настоящий политик – а таков он и есть! – задался целью (и правильно!) не дать синьору герцогу Неверскому пустить корни в Мантуе, то, значит, этому и не бывать; и синьор кардинал ди Ричилью только зря воду шпагой колет. Мне просто смешно, как этот милейший синьор кардинал собирается помериться силами с самим графом-герцогом, с самим Оливаресом! Вот уж, поистине, хотелось бы мне воскреснуть лет через двести, чтобы послушать, что скажет потомство об этом нелепом притязании. Тут одной зависти мало – тут голова нужна, а таких голов, как голова графа-герцога, во всем мире только одна и есть. Граф-герцог, синьоры мои... – продолжал подеста, словно несясь на крыльях попутного ветра и сам несколько дивясь тому, что нигде не встречает ни малейшего подводного камня, – граф-герцог – это старая лиса (да будет мне дозволено при всем почтении так выразиться!), которая кого угодно собьет со следа, и если он метит вправо, можно быть уверенным, что удар придется влево. Отсюда и выходит: никто и никогда не мог похвалиться, что знает его намерения, и даже те, кому предстоит приводить их в исполнение, кто составляет депеши, ничего в них не понимают. Я могу говорить с некоторым знанием дела, ибо добрейший синьор кастеллан удостоивает меня своей беседой, я пользуюсь некоторым его доверием... Граф-герцог же, наоборот, подробно знает обо всем, что варится в котлах других дворов. И как только кто-нибудь из этих великих политиков (а надо сознаться, есть среди них и очень ловкие) задумает какой-нибудь ход, граф-герцог, глядишь, уже разгадал его при помощи своего ума и тайных связей, которые у него повсюду. А этот бедняга кардинал Ричилью пробует тут, нюхает там, потеет, из сил выбивается. И что же? Только удастся ему подвести подкоп, а уж у графа-герцога готов встречный...



Одному небу известно, когда подеста собрался бы наконец причалить к берегу, если бы дон Родриго, подстрекаемый к тому же гримасами своего кузена, не догадался, словно по внезапному вдохновению, обратиться к слуге с приказанием принести особую бутылочку.

– Синьор подеста и почтенные мои синьоры, – прибавил он, – предлагаю здравицу за графа-герцога, а вы потом скажете, достойно ли такой особы мое вино.

Подеста ответил поклоном, выразившим чувство сугубой благодарности, ибо все, что делалось или говорилось в честь графа-герцога, он принимал отчасти на свой счет.

– Да живет тысячу лет дон Гаспаро Гусман, граф Оливарес, герцог Сан-Лукар, великий привато короля дона Филиппо Великого, нашего государя! – воскликнул он, поднимая стакан.

Словом «привато», если кто этого не знает, в ту пору было принято обозначать государева любимца.

– Да живет тысячу лет! – подхватили все.

– Налейте падре, – сказал дон Родриго.

– Простите, – ответил монах, – я уж и без того совершил недозволенное и не хотел бы...

– Как?! – сказал дон Родриго. – Дело идет о здравице в честь графа-герцога. Неужели вы хотите, чтобы вас сочли сторонником наваррцев?

Так тогда в насмешку называли французов – по наваррским государям, которые в лице Генриха IV начали царствовать во Франции.

В ответ на такой вызов пришлось выпить. У всех сотрапезников вырвались восклицания и похвалы вину, за исключением доктора, который, подняв голову, уставился глазами в одну точку и многозначительно сжал губы, выражая этим гораздо больше, чем мог бы сказать словами.

– А что скажете вы, доктор? – спросил дон Родриго.

Вытащив из стакана свой нос, который алел и блестел сильнее, чем стакан, доктор отвечал, торжественно отчеканивая каждый слог:

– Я говорю, объявляю и устанавливаю, что вино это – Оливарес среди вин: *sensui, et in eam ivi sententiam*⁶, что подобного напитка не найти ни в одном из двадцати двух царств нашего повелителя-короля, да хранит его Бог; и определяю, объявляю, что обеды светлейшего синьора дона Родриго оставляют далеко позади пиры Гелиогабала и что голодуха навеки удалена и изгнана из этого дворца, где восседает и царит великолепие.

– Хорошо сказано! Правильно определено! – в один голос закричали сотрапезники, но слово «голодуха», которое случайно бросил доктор, сразу направило мысль всех на этот печальный предмет, и все заговорили о голоде. Здесь все были согласны, по крайней мере в основном, однако шуму было, пожалуй, больше, чем если бы налицо оказалось разногласие. Все говорили разом.

⁶ Я попробовал и пришел к тому мнению (лат.).



– Голода нет, – говорил один, – виноваты скупщики!..
– И булочки, – говорил другой, – они прячут, прячут зерно. Вешать их!
– Вот именно – вешать их, без всякого снисхождения!
– Суд бы им устроить хороший! – кричал подеста.
– Какой там суд! – еще громче кричал граф Аггилио. – Расправа короткая: забрать человек трех-четырех, а то и пятерых-шестерых из тех, кого общая молва считает самыми богатыми и самыми свирепыми, и повесить их!

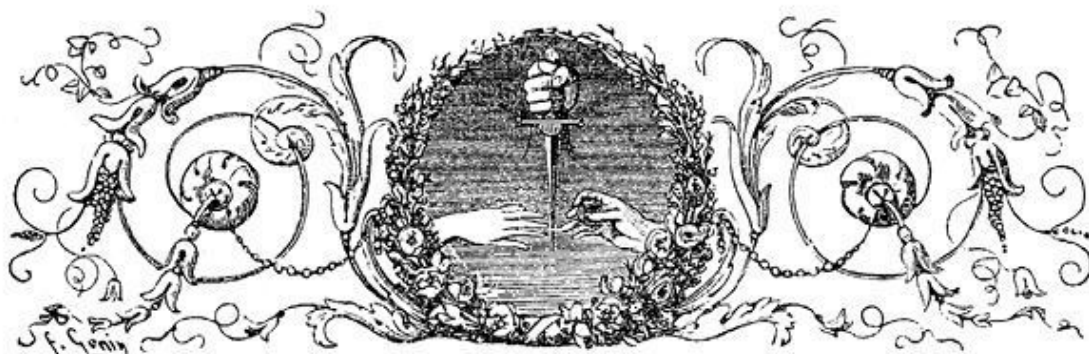
– Нужны примеры, примеры! Без примера ничего не сделаешь. Вешать их, вешать! И увидите, зерно посыплется со всех сторон!

Кому случалось, проходя ярмаркой, наслаждаться той гармонией, какую производит оркестр уличных музыкантов, когда в перерыве между двумя пьесами каждый настраивает свой инструмент, заставляя его звучать как можно громче, чтобы самому лучше слышать его среди шума других, тот может составить себе понятие о созвучии этих, с позволения сказать, речей. Тем временем все подливали себе да подливали знаменитое вино, и похвалы ему перемешивались, как того и следовало ожидать, с суждениями доморощенных законников, так что громче и чаще всего слышались слова *амброзия* и *вешать их*.

Дон Родриго тем временем поглядывал на единственного человека, хранившего молчание; держался он все время спокойно, без малейших признаков нетерпения или спешки, по видимому нисколько не стремясь напомнить о том, что ведь он дожидается; впрочем, видно было, что он не желает уйти невыслушанным. Дон Родриго охотно избавился бы от него, уклонившись от всякого разговора, но отослать капуцина, не дав ему аудиенции, шло вразрез с его правилами. И так как избежать этой неприятности не представлялось возможным, он решил пойти ей навстречу и поскорее от нее избавиться. Дон Родриго встал из-за стола, а с ним под-

нялась и вся подвыпившая компания, продолжавшая галдеть. Извинившись перед гостями, он принял серьезный вид и, подойдя к монаху, поднявшемуся с остальными, со словами: «Я к вашим услугам», повел гостя в другую комнату.

Глава шестая



– Чем могу служить? – сказал дон Родриго, остановившись посередине комнаты. Так прозвучали его слова, но интонация, с которой они были произнесены, ясно говорила: «Помни, кто перед тобой, взвешивай свои слова, и – покороче».

Не было более верного и легкого средства, чтобы придать духу нашему фра Кристофоро, как заговорить с ним вызывающим тоном. Он стоял было в нерешительности, подыскивая слова, и на четках, висевших у пояса, отсчитывал пальцами одну молитву за другой, словно надеялся в одной из них найти, с чего бы ему начать, но при таком обращении дона Родриго он сразу почувствовал, что на языке у него появилось слов даже больше, чем следовало. Однако, подумав, насколько важно не испортить своего дела или, что еще важнее, чужого дела, он

исправил и смягчил те фразы, которые пришли ему на ум, и с благоразумным смирением произнес:

– Я пришел просить вас о милости и предложить вам восстановить поправную справедливость. Какие-то злонамеренные люди злоупотребили именем вашей светлости, чтобы застрашать скромного курато, помешать ему выполнить свой долг и тем обидеть двух безвинных людей. Единным словом вы можете, пристыдив их, восстановить нарушенную справедливость и поддержать тех, над кем совершено такое жестокое насилие. Вы можете сделать это. А раз можете... то, разумеется, ваша совесть, честь...

– О совести вы мне будете говорить, когда я приду к вам исповедоваться. А что касается моей чести, то извольте знать, что ее единственным хранителем являюсь я, и только я, поэтому я считаю наглестом и оскорбителем моей чести всякого, кто заявит о своем дерзком желании разделить со мной эту заботу.

Поняв, что синьор стремится истолковать его слова в дурную сторону, стараясь превратить беседу в ссору и помешать ему перейти к существу дела, падре Кристофоро решил проглотить все, что бы его собеседнику ни вздумалось сказать, и он тут же смиренно ответил:

– Если я сказал что-либо вам неуютное, то это вышло неумышленно. Уж вы меня поправьте, побраните, если я не умею говорить, как полагается, но все-таки соблаговолите выслушать. Ради самого Неба, ради Господа, перед которым всем нам суждено предстать... – с этими словами он взял небольшой деревянный череп, прикрепленный к четкам, и поднес его к глазам своего сурового слушателя, – не упорствуйте, не откажите в справедливости, которую так легко и необходимо оказать этим бедным людям. Подумайте, ведь очи Господни всегда устремлены на них, и их вопли, их стенания слышны там, наверху. Невинность – большая сила...

– Будет, падре! – резко прервал его дон Родриго. – Уважение мое к вашему одеянию велико. И только одно может заставить меня позабыть о нем: когда я вижу это одеяние на человеке, который дерзает явиться ко мне в дом в роли соглядатая.

Слова эти вызвали краску на лице монаха. С видом человека, проглотившего очень горькую пилюлю, он продолжал:

– Вы ведь и сами не верите, чтобы это название подходило ко мне. В душе вы сознаёте, что мое поведение не является ни низким, ни достойным презрения. Послушайте меня, синьор дон Родриго; да не допустят Небеса, чтобы настал день, когда вы станете раскаиваться в том, что не выслушали меня. Не ставьте вы себе в заслугу... да и что за заслуга, синьор дон Родриго? Что за заслуга это пред лицом людей! А пред лицом Господа? Здесь – многое в ваших силах, но...

– Знаете что, – сказал дон Родриго, прерывая его с раздражением и в то же время не без некоторого испуга, – когда мне придет охота послушать проповедь, я не хуже других найду дорогу в церковь. А у себя дома – благодарю покорно! – И тоном принужденной шутки он продолжал с усмешкой: – Вы меня расцениваете выше моего звания. Домашний проповедник! Это бывает только у государей.

– Бог, требующий у государей ответа на то слово, которое он дает им услышать в их собственных дворцах, Бог, который ныне проявляет к вам милосердие, посылая своего служителя – пусть недостойного и ничтожного, но все же своего служителя – просить за невинную...

– В конце концов, падре, – сказал дон Родриго, делая вид, что он собирается удалиться, – я не знаю, что вы хотите сказать; я только понял одно, что тут замешана какая-то девушка, близкая вашему сердцу. Ступайте изливаться кому угодно, а порядочного человека от подобной доуки, пожалуйста, увольте.

Дон Родриго направился было к выходу, но падре Кристофоро преградил ему путь, правда очень почтительно, и, подняв руки, обратился к нему опять:

– Да, она близка моему сердцу, но не больше, чем вы; здесь две души, и обе мне дороже моей собственной крови. Дон Родриго! Единственное, что я могу сделать для вас, – молить

о вас Бога, и это я сделаю от всей души. Не отказывайте мне, не держите в тревоге и страхе бедную невинную девушку. Единое слово ваше может все исправить.



– Ну что ж, – сказал дон Родриго, – раз вы думаете, что в моих силах многое сделать для этой особы, раз уж она так близка вашему сердцу...

– Ну так что же? – тревожно подхватил падре Кристофоро, ибо весь тон и выражение лица дона Родриго не позволяли ему предаться надежде, которую, казалось бы, могли внушить эти слова.

– А вот что: посоветуйте ей прийти и отдаться под мое покровительство. Она ни в чем не будет знать недостатка, и никто не посмеет ее беспокоить, не будь я рыцарем!

В ответ на подобное предложение негодование монаха, до сих пор с трудом сдерживаемое, вырвалось наружу. Все его соображения о благоразумии и терпении развеялись как дым: в нем одновременно заговорили два человека – прежний и новый, а в таких случаях фра Кристофоро поистине стоил двоих.

– Ваше покровительство! – воскликнул монах, отступая на два шага. Горделиво опираясь на правую ногу и подбоченившись правой рукой, он поднял левую и, вытянув указательный палец в сторону дона Родриго, впери в него свой разгневанный взор. – Ваше покровительство! Хорошо, что вы так заговорили, что вы сделали мне подобное предложение. Вы переполнили чашу, и я больше не боюсь вас.

– Как... что вы сказали, падре?

– Я говорю так, как подобает говорить с человеком, которого Бог оставил и который уже не может устрашить. Ваше покровительство! Я хорошо знал, что эта невинная девушка –

под Божьим покровительством; но вы, вы дали мне почувствовать это с такой уверенностью, что мне нечего больше церемониться, говоря с вами о ней. Я имею в виду Лючию, – вы видите, что я произношу это имя с поднятой головой, не опуская глаз.

– Как! У меня в доме?

– Я чувствую сострадание к этому дому: проклятие нависло над ним. Вы увидите, отпрянет ли правосудие Божие перед какими-то каменными стенами, отступит ли оно перед несколькими наемными убийцами. Вы думали, что Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы доставить вам удовольствие мучить его. Вы думали, что он не сумеет защитить его. Вы презрели Божье предостережение! Вы осудили себя. Фараон ожесточился сердцем подобно вам – и Господь сокрушил его. Вы не страшны больше Лючии, это говорю вам я, я – нищий монах. А что касается вас, то выслушайте меня... Настанет день...

До этого момента дон Родриго пребывал между бешенством и удивлением; изумленный, он не находил слов; но когда он увидел, что начинаются пророчества, к бешенству его присоединилось смутное и таинственное чувство ужаса.

Быстрым движением он схватил грозившую ему руку и, возвысив голос, желая прервать зловещие пророчества, закричал:

– Убирайся вон, дерзкий мужлан, бездельник в сутане!

Эти слова, столь выразительные, мигом успокоили падре Кристофоро. Жестокое обращение и ругань уже настолько крепко связались в его представлении с необходимостью страдать и молчать, что, выслушав эту «любезность», он сразу утратил свой гнев и пыл и твердо решил спокойно выслушать все, что дону Родриго угодно будет прибавить. А потому, мягко вызволив свою руку из когтей благородного дворянина, он опустил голову и остался недвижим, подобно тому как в сильную грозу колеблемое ветром дерево начинает расправлять свои ветви, как только стихнет ветер, и покорно принимает ниспосланный на него небом град.



– Мужик ты неотесанный! – продолжал дон Родриго. – Ты судишь по себе! Благодарю свою сутану, прикрывающую негодные твои плечи, только она тебя и спасает, не то я погладил бы тебя, как полагается гладить тебе подобных, чтобы научить разговаривать. На этот раз убирайся-ка подобру-поздорову, а там посмотрим.

С этими словами он повелительным жестом, исполненным презрения, указал на дверь напротив той, через которую они вошли; падре Кристофоро склонил голову и вышел, оставив дону Родриго в неистовстве шагать, измеряя поле сражения.

Когда монах закрыл за собой дверь, он увидел в том месте, где очутился, какого-то человека, потихоньку удалявшегося, скользившего вдоль самой стены, словно стараясь, чтобы его не заметили из комнаты, где происходил разговор; монах узнал в нем старого слугу, впустившего его в ворота. Он служил в этом доме, пожалуй, уже лет сорок, поступив еще задолго до рождения дон Родриго в услужение к его отцу, который был человеком совсем иного склада. По смерти родителя новый хозяин разогнал всю прислугу и набрал новую. Однако оставил этого слугу как ввиду его престарелого возраста, так еще и потому, что тот хотя и придерживался совершенно других правил и обычаев, но искупал этот недостаток двумя качествами: высоким мнением о достоинствах дома и большим знанием этикета, причем лучше любого другого знал как исконные его традиции, так и мельчайшие подробности. В глаза своему господину бедный старик никогда не посмел бы заикнуться, а тем более высказать открыто свое недовольство тем, что приходилось ему видеть каждый день; в присутствии других слуг он едва позволял себе процедить сквозь зубы отдельное неодобрительное восклицание, а те потешались над ним и порой доставляли себе развлечение, стараясь задеть в старике эту струну, чтобы заставить его сказать лишнее и послушать, как он станет прославлять прежние порядки этого дома. Его брюзжание всегда доходило до хозяйских ушей, неизменно сопровождаясь рассказом о том хохоте, каким оно было встречено, а поэтому и для самого Родриго служило лишь поводом для смеха, не вызывая, однако, ни малейшего гнева. Зато в дни приема гостей старик становился важной и значительной персоной.

Падре Кристофоро мельком взглянул на него, поклонился и продолжал идти своей дорогой, но старик с таинственным видом подошел к нему, приложил палец к губам и подал знак, приглашая его зайти в какой-то темный закоулок. Когда они очутились там, он сказал вполголоса:

– Падре, я все слышал, и мне нужно поговорить с вами.

– Говорите скорее, добрый человек.

– Только не здесь. Избави Бог, увидит хозяин... А я много чего знаю и постараюсь завтра прийти в монастырь.

– А разве есть какие-нибудь планы?

– Да, что-то тут наверняка затевается, я уже заметил. Но теперь я буду настороже и, надеюсь, раскрою все. Предоставьте это мне. Да, мне приходится видеть и слышать такие вещи... страшные вещи! В хорошем же доме я живу! Но спасение души мне дороже всего.

– Да благословит вас Господь! – С этими словами монах возложил руку на голову слуги, который, хоть и был намного старше, стоял перед ним, склонившись с сыновней почтительностью. – Господь воздаст вам, – продолжал монах, – не забудьте же прийти завтра.

– Постараюсь, – ответил слуга, – вы же ступайте скорее и... ради самого Неба, не выдавайте меня! – С этими словами он, осторожно оглядываясь по сторонам, удалился через другую дверь в небольшую комнату, выходящую во дворик; убедившись, что никого нет, он вызвал во двор монаха, лицо которого красноречивее всяких словесных заверений давало ответ на последние слова слуги. Старик пальцем указал на выход, и монах ушел, не сказав больше ни слова.

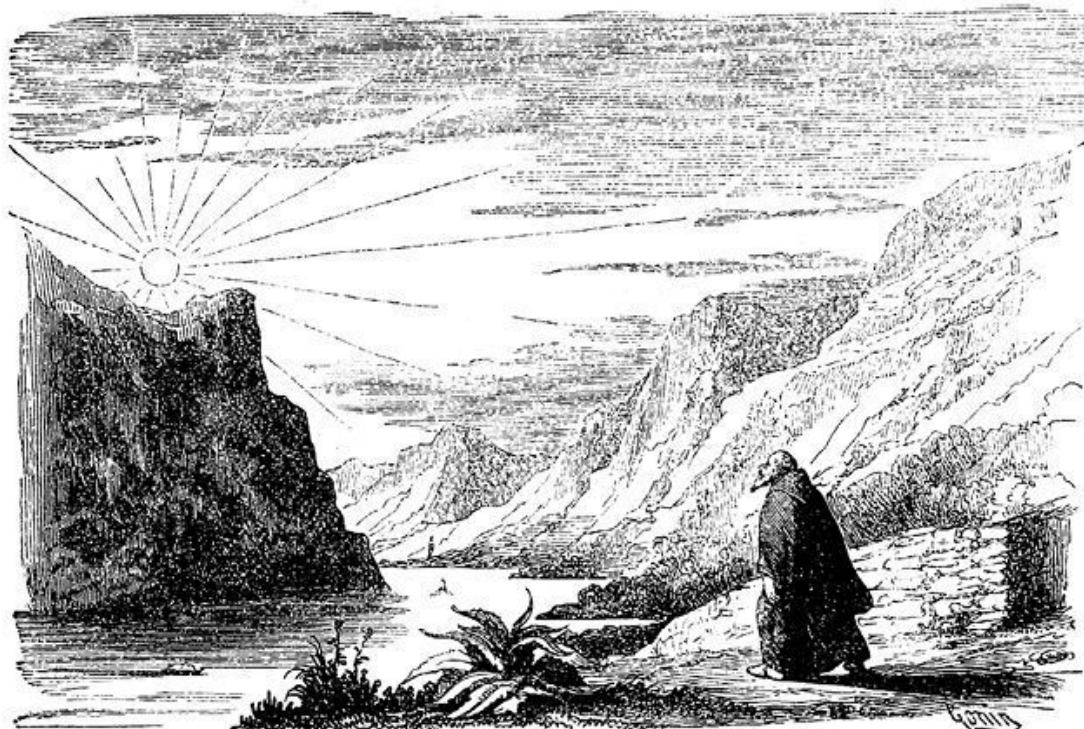


Человек этот стоял и подслушивал у дверей своего хозяина: хорошо ли он поступил? И хорошо ли поступил падре Кристофоро, похвалив его за это? Согласно общепринятым и неоспоримым правилам – это весьма дурной поступок, но разве данный случай нельзя рассматривать как исключение? И ведь бывают же исключения из общепринятых и неоспоримых правил? Вопросы важные, но пусть читатель, если ему охота, разрешит их сам. Мы не беремся судить: мы удовлетворяемся простой передачей фактов.

Выйдя на улицу и повернувшись спиной к этому логову, фра Кристофоро облегченно вздохнул и быстро стал спускаться вниз; лицо его пылало – и каждому нетрудно представить себе, что он был взбудоражен и выбит из колеи как тем, что он слышал, так и тем, что наговорил сам. Но столь неожиданное предложение старика явилось для него сильнейшим подкреплением: казалось, само Небо дало ему видимый знак своего покровительства. «Вот нить, – думал он, – нить, которую Провидение дает мне в руки. И в этом же самом доме! Меж тем как мне и во сне не снилось обрести ее здесь!» Так размышляя, он поглядел на запад, увидел заходящее солнце, которое вот-вот готово было коснуться вершины горы, и понял, что день клонится к концу. Тогда он, хоть и чувствовал себя утомленным и разбитым от всех происшествий этого дня, все же ускорил шаг, чтобы успеть доставить какое ни на есть известие своим опекаемым и попасть в монастырь до наступления ночи, – таково было одно из самых существенных и наиболее строго соблюдаемых правил капуцинского устава.

Тем временем в домике Лючии возникли и подверглись обсуждению планы, о которых необходимо осведомить читателя. После ухода монаха трое оставшихся пребывали некоторое время в молчании. Лючия грустно готовила обед; Ренцо ежеминутно собирался уйти, чтобы не видеть ее такой опечаленной, и все-таки медлил. Внимание Аньезе, казалось, было целиком

поглощено мотовилом, которое она заставляла вертеться, на самом же деле она обдумывала свой план и, когда последний, по ее мнению, созрел, прервала молчание такими словами:



– Послушайте, детки! Если у вас хватит смелости и осторожности, если вы доверитесь вашей матери (слово «ваша» заставило сердце Лючии забиться сильнее), я берусь выволить вас из этих затруднений, пожалуй, лучше и быстрее падре Кристофоро, хоть он и важная особа.

Лючия замерла и посмотрела на нее взглядом, в котором было больше изумления, чем доверия к столь заманчивому обещанию; а Ренцо порывисто сказал:

– Смелости?.. Осторожности?.. Да говорите же, говорите, что можно сделать?

– Не правда ли, – продолжала Аньезе, – будь вы повенчаны, было бы совсем другое дело? И тогда ведь легче было бы уладить все остальное?

– Да уж что говорить, – сказал Ренцо, – будь мы повенчаны... живи себе где хочешь, как дома; да вот в двух шагах отсюда, на Бергамской территории, там с распростертыми объятиями принимают всякого работника по шелковой части. Вы ведь знаете, сколько раз Бартоло, мой двоюродный брат, сманивал меня уйти туда жить с ним... Там я бы разбогател, как он; а если я никак на это не соглашался, так ведь... что ж тут скрывать? Все потому, что сердце мое оставалось здесь. А поженившись, отправились бы мы туда все вместе, обзавелись бы домом и жили бы себе мирно, подальше от этого злодея, и у него не было бы никакого искушения выкинуть какую-нибудь неподходящую штуку. Так ведь, Лючия?

– Конечно, – сказала Лючия, – но как же.

– А вот, как я сказала, – отвечала мать, – смелость и осторожность, тогда это дело нехитрое!

– Нехитрое?! – в один голос воскликнули Ренцо и Лючия, для которых такое дело казалось очень сложным и мучительно-трудным.

– Совсем простое, коль сумеешь его сделать, – продолжала Аньезе. – Слушайте внимательно, а я постараюсь растолковать вам. Знаю я от людей, которые в этом хорошо понимают, –

а один случай я даже и сама видела, – что для венчания курато, разумеется, необходим, но вовсе нет нужды, чтобы он желал совершить обряд, только бы он присутствовал, и все тут.

– То есть как же это так? – спросил Ренцо.

– А вот слушайте – тогда поймете! Надо иметь двух свидетелей, очень ловких и согласных помочь. Все вместе идут к курато – вся суть в том, чтобы захватить его врасплох, чтобы он не успел удрасть. Жених говорит: «Синьор курато, она – моя жена»; невеста говорит: «Синьор курато, он – мой муж». Достаточно, чтобы курато это слышал, чтобы слышали свидетели, – и брак совершен, самый законный, такой же нерушимый, как если бы его совершил сам папа. Раз слова произнесены, курато может кричать, шуметь, беситься – все бесполезно: вы – муж и жена.

– Так ли это?! – воскликнула Лючия.

– Да что же, – сказала Аньезе, – вы никак думаете, что за тридцать лет, которые я прожила на свете до вашего рождения, я так-таки ничему и не научилась? Все именно так, как я вам говорю. Недалеко ходить: одна моя подруга, захотевшая выйти замуж против желания родителей, поступила таким манером и добилась своего. Курато, который и не подозревал такого подвоха, держался все-таки настороже, но эти чертенята сумели всё так ловко подстроить, что захватили его в самый подходящий момент, произнесли слова и стали мужем и женой, – правда, бедняжка уже через три дня раскаялась в этом.

Аньезе говорила правду как в отношении выполнимости такого предприятия, так и в отношении его рискованности, потому что, если, с одной стороны, к этому средству прибегали только люди, встретившие какое-нибудь препятствие или отказ быть обвенчанными обычным путем, то и приходские курато, со своей стороны, всячески стремились избегать подобного вынужденного содействия, и когда кто-нибудь из них все же попадался на удочку одной из таких пар, сопровождаемой свидетелями, то всячески старался вывернуться, подобно Протею, ускользавшему из рук тех, кто хотел насильно заставить его пророчествовать.

– Если бы это было так, Лючия! – сказал Ренцо, глядя на нее с мольбой и ожиданием.

– То есть как это – «если бы было так»? – отвечала Аньезе. – Ты что же, думаешь, что я мелю вздор? Я за вас мучаюсь, и мне же не верят! Нечего сказать! Хорошо же! Коли так, выпутывайтесь из этой истории сами – я умываю руки.

– О нет! Не покидайте нас, – сказал Ренцо. – Я говорю так лишь потому, что все это кажется мне чересчур заманчивым. Я в ваших руках, для меня вы все равно что родная мать.

Слова эти заставили улечься напускное негодование Аньезе, и она выбросила из головы намерение, которое, сказать по совести, и не было серьезным.

– Но почему же, милая мама, – сказала со свойственной ей скромной сдержанностью Лючия, – почему все это не пришло в голову падре Кристофоро?

– Не пришло в голову? – отвечала Аньезе. – Ты думаешь, это не пришло ему в голову? Пришло, да, стало быть, он не захотел говорить об этом.

– Почему же? – разом спросили оба.

– Почему? Да потому, если вы хотите знать, потому что духовные особы считают это дело не очень-то хорошим.

– Как же так, что дело это не очень хорошее, а меж тем считается хорошим, раз оно сделано?

– Что я в этом понимаю? – отвечала Аньезе. – Законы ведь они составляли, как им было угодно, а мы – люди маленькие, всего разуместь не можем. Да и потом сколько таких вещей... Так вот, это все равно что дать ближнему хорошего тумака; ведь тоже как будто нехорошо, однако раз дело сделано, то и сам папа уже не может снять его.

– Ну, раз дело это нехорошее, – сказала Лючия, – не следует его и делать.

– Что? – сказала Аньезе. – Неужели, по-твоему, я стану учить чему-нибудь, что противно страху Божьему? Будь это против воли твоих родителей, вздумай ты пойти за какого-нибудь

забудыгу... а раз я согласна и ты выходишь вот за него, то тот, кто чинит всякие помехи, просто разбойник, а синьор курато...

– Да ведь все ясно, всякий это может понять! – прервал ее Ренцо.

– Не надо только говорить об этом падре Кристофоро, пока все не сделается, – продолжала Аньезе, – а когда сделается и все пройдет удачно, как ты думаешь, что тебе скажет падре Кристофоро? «Ах, дочь моя, нехорошую вы со мной сыграли шутку»? Духовной особе приходится говорить так, а в глубине души, уж поверь мне, и он будет доволен.

Хотя Лючия и не нашла что сказать на подобное рассуждение, все же она, видимо, осталась при своем мнении. Зато Ренцо, окончательно убежденный, сказал:

– Раз это так, значит, все в порядке.

– Не торопись, – сказала Аньезе. – А свидетели-то? Найти двоих, чтобы согласились, да притом еще не проболтались! Да еще сумеет заставить синьора курато, который вот уже два дня хоронится у себя дома! Да удержать его на месте! Ведь он, хоть и тяжел на подъем, а все же, я уверена, как только увидит ваше появление в таком составе, сразу окажется проворнее кошки и удерет, как дьявол от святой воды.

– Я нашел способ, нашел! – воскликнул Ренцо, так стукнув кулаком по столу, что запрыгала посуда, расставленная к обеду. И он стал излагать свой план, который Аньезе целиком одобрила.

– Все это какие-то уловки, – возразила Лючия, – дело-то не совсем чисто. До сих пор мы поступали честно. Давайте и дальше действовать уповая на Бога, и он нам поможет: так сказал падре Кристофоро. Посоветуемся с ним!

– А ты следуй за теми, кто понимает больше тебя, – сказала Аньезе со строгим выражением лица. – Зачем с кем бы то ни было советоваться? Господь говорит: «Помогай себе сам, помогу тебе и я». Когда дело будет сделано, мы все расскажем падре Кристофоро.

– Лючия, – сказал Ренцо, – неужели вы меня не поддержите теперь? Разве мы не сделали все, что подобает добрым христианам? Разве мы не должны были бы уже стать мужем и женой? Разве курато не назначил нам дня и часа? И кто виноват в том, что нам приходится теперь прибегать к некоторым уловкам? Нет, вы не откажете мне в поддержке. Я сейчас пойду и вернусь с ответом. – И, простившись с Люцией умоляющим взглядом, а с Аньезе – выражением взаимного понимания, он поспешно вышел.



Страдания оттачивают ум. И Ренцо, который на ровном и спокойном жизненном пути, до той поры им пройденном, никогда не имел повода изощрять свой ум, в данном случае продумал такую штуку, которая сделала бы честь профессиональному юристу. Выполняя свое намерение, он отправился прямо к некоему Тонио, домик которого стоял неподалеку. Он застал хозяина на кухне; упершись коленом в ступеньку очага и придерживая одной рукой край котелка, поставленного на горячую золу, тот замешивал кривой лопаткой скромную сероватую поленту из кукурузы. Мать, брат и жена Тонио сидели за столом, а трое или четверо ребятшек, обступив отца и уставясь в котелок, дожидались момента, когда поленту подадут к столу. Но во всем этом не было той радости, какую обычно вызывает вид обеда у того, кто заработал его честным трудом. Количество поленты определялось неурожайным годом, а не числом и желанием едоков, и каждый из них, искоса поглядывая с нескрываемой жадностью на общее кушанье, уже думал, казалось, о той доле своего аппетита, которая останется неудовлетворенной. В то время как Ренцо обменивался поклонами со всей семьей, Тонио опрокинул поленту на буковый лоток, стоявший наготове, и она казалась на нем маленькой луной в густых облаках пара. Тем не менее женщины любезно обратились к Ренцо: «Не угодно ли откусить с нами?» В Ломбардии крестьянин, да, думаю, и во многих других странах, неизменно проявит подобную любезность ко всякому, кто застанет его за едой, хотя бы пришедший оказался богатым кутилой, только что вставшим из-за стола, а у него самого оставался последний кусок.



– Благодарю вас, – отвечал Ренцо, – я пришел только сказать словечко Тонио; да если хочешь, Тонио, – чтобы не беспокоить твоих женщин, – пойдем пообедаем в соседнюю остерию, там и поговорим.

Предложение это было для Тонио тем приятнее, чем менее он его ожидал; да и женщины, равно как и дети (ибо в этом они рано обнаруживают сообразительность), с не меньшим удовольствием встретили отстранение одного из претендентов на поленту, к тому же самого страшного. Приглашенный без дальнейших расспросов ушел вместе с Ренцо.

Пришли в деревенскую остерию; уселись совсем вольготно, в полнейшем одиночестве, ибо нищета отвадила всех обычных посетителей этого приюта всяческих радостей; заказали

то небольшое, что там нашлось; распили кувшин вина, и тогда Ренцо с таинственным видом обратился к Тонио:

– Если ты окажешь мне маленькую услугу, я готов оказать тебе большую.

– Говори, говори все начистоту, распоряжайся мною, – отвечал, наливая, Тонио. – Нынче я готов за тебя броситься хоть в огонь.

– У тебя есть должок синьору курато в двадцать пять лир за аренду участка, который ты у него снимал под обработку в прошлом году.

– Ах, Ренцо, Ренцо! Ты портишь все свое благодеяние. Зачем ты об этом заговорил? Вот хорошего настроения у меня как и не бывало.

– Если я с тобой заговорил об этом должке, так потому, что я, коли хочешь, дам тебе возможность разделаться с ним.

– Ты это серьезно?

– Совершенно серьезно! Ну как? Ты был бы доволен?

– Доволен? Черт меня побери, если бы я не был доволен! Хотя бы ради того, чтобы не видать больше этих ужимок и покачиваний головой, какими меня каждый раз при встрече угощает синьор курато. А потом эти речи: «Тонио, помните?.. Тонио, когда же мы увидимся по тому самому делу?» Это так меня донимает, что даже во время проповеди, когда он на меня этак уставится, я боюсь: ну-ка он скажет при всех: «А двадцать пять лир?» Да будь они прокляты, эти двадцать пять лир! И женино золотое ожерелье ему пришлось бы вернуть мне – а сколько бы я на него получил поленты... но только...

– Ну что – только?.. Если ты мне окажешь малюсенькую услугу, двадцать пять лир для тебя приготовлены...

– Да говори же.

– Но смотри!.. – сказал Ренцо, приложив палец к губам.

– К чему все это? Ведь ты же меня знаешь.

– Синьор курато занимается выдумыванием разных нелепых предлогов, чтобы оттянуть мою свадьбу, а я, наоборот, хочу отделаться поскорее. Мне доподлинно известно, что если к нему явятся сами обрученные да двое свидетелей и если я скажу: «Вот моя жена», а Лючия скажет: «Вот мой муж», то брак считается законно совершенным. Ты меня понимаешь?

– Ты хочешь, чтобы я был свидетелем?

– Вот именно.

– И заплатишь за меня двадцать пять лир?

– Вот именно – это я и имел в виду.

– Подлец тот, кто не сдержит обещания.

– Но нужно найти второго свидетеля.

– А я уже нашел. Дурачок-то, братишка мой Жервазо, все сделает, что я ему скажу. Ты его угостишь выпивкой?

– И обедом, – отвечал Ренцо. – Мы его приведем сюда попить с нами. Да сумеет ли он?

– Я его научу: ты ведь знаешь, его мозги целиком достались мне.

– Так до завтра...

– Хорошо!

– К вечеру...

– Отлично!

– Но смотри! – сказал Ренцо, снова приложив палец к губам.

– Ну вот еще! – отвечал Тонио, склоняя голову к правому плечу и подняв левую руку, с выражением лица, говорившим: «Ты меня обижаешь».

– А если жена тебя спросит, а она, конечно, не преминет...

– По части вранья я у своей жены в долгу, да в таком, что уж и не знаю, удастся ли когда-нибудь с ней рассчитаться. Уж придумаю какую-нибудь чепуху, чтобы уговорить ее...

– Завтра утром, – сказал Ренцо, – мы поговорим обстоятельнее, чтобы хорошенько условиться обо всем.

С этим они вышли из остерии. Тонио направился домой, сочиня всякий вздор, чтобы рассказать своим женщинам, а Ренцо пошел сообщить о заключенном соглашении.



Тем временем Аньезе выбивалась из сил, тщетно стараясь убедить дочь, которая против любого ее довода выдвигала то одно, то другое положение своей дилеммы: либо это дело нехорошее – и не следует его делать; либо наоборот, а тогда почему не сказать о нем падре Кристофоро?

Ренцо вернулся торжествующий и, рассказав обо всем, закончил восклицанием: «А?!» – что означало: «Ну, каков я? Разве можно было придумать лучше? Вы, небось, так не сообразили бы» – и всякое такое прочее...

Лючия тихонько покачивала головой; остальные двое в чрезмерном волнении мало обращали на нее внимания; так поступают обычно с ребенком, не рассчитывая, что он сразу поймет смысл происходящего, и от которого позднее просьбами и уговорами удастся добиться того, что нужно.

– Хорошо-то оно хорошо, – сказала Аньезе, – только вы не обо всем подумали.

– Чего же еще не хватает? – спросил Ренцо.

– А Перпетуя? Ее-то вы и забыли. Тонио с братом она, пожалуй, и впустит; а вас, да еще вдвоем!.. Подумайте! Ей, наверно, приказано и близко вас не подпускать, словно мальчишку к дереву со спелыми грушами.



– Как же быть? – произнес несколько смущенный Ренцо.

– А вот как – я уж все это обдумала. Пойду с вами и я. У меня есть секрет, чем привлечь ее и так заворожить, что она вас не заметит, – вы и войдете. Я позову ее и затрону такую струнку... вот увидите.

– Как вас благодарить! – воскликнул Ренцо. – Я всегда говорил, что вы во всем нам поддержка.

– Но все это ни к чему, – сказала Аньезе, – если не удастся убедить Лючию: она упорно твердит, что это грех.

Тогда и Ренцо пустил в ход свое красноречие, но Лючию ничем нельзя было сбить с толку.

– Я не могу ответить на все ваши доводы, – говорила она, – одно я вижу: чтобы сделать так, как вы говорите, приходится пускать в ход уловки, выдумки, ложь. Ах, Ренцо, не так мы с вами начали! Я хочу быть вашей женой (произнеся это слово и объясняя это свое намерение, она никак не могла совладать с собой и густо покраснела), но только честным путем, со страхом Божьим, перед алтарем. Предоставим все воле Божьей. Разве не найдет он пути помочь нам лучше, чем это можем сделать мы со всеми своими фокусами и уловками? И зачем скрывать все от падре Кристофоро?

Спор не унимался, и казалось, конца ему не будет, как вдруг торопливое топанье сандалий и звук хлопающей сутаны, похожий на тот, что производят повторные порывы ветра, ударяющие в поникшие паруса, возвестили приближение падре Кристофоро. Все замолкли, а Аньезе едва успела шепнуть на ухо Лючии: «Ну смотри же, не проговорись ему».



Глава седьмая



При своем появлении падре Кристофоро был похож на хорошего полководца, который проиграл не по своей вине важное сражение и был опечален этим, хотя и не обескуражен, озабочен, но не в растерянности и со всей быстротой, но без всякой паники спешил туда, куда звала его необходимость, дабы укрепить уязвимые места, собрать войска и отдать новые распоряжения.

– Мир вам, – сказал он, входя. – От этого человека ждать нечего; тем более надо уповать на Бога, и у меня уже есть некоторый залог его заступничества.

Хотя никто из троих и не возлагал больших надежд на попытку падре Кристофоро, ибо зрелище тирана, отказывающегося от насилия без всякого принуждения, единственно в угоду простым мольбам, было не только редким, а прямо-таки неслыханным явлением,

все же печальная истина была ударом для всех. Женщины опустили головы, но в душе Ренцо гнев пересилил подавленность духа. Известие это застало его уже достаточно ожесточившимся от многочисленных печальных неожиданностей, тщетных попыток, обманутых надежд, а кроме того, в данную минуту он был раздражен упорством Лючии.

– Хотел бы я знать, – закричал он, скрежеща зубами и повышая голос, чего никогда раньше не позволял себе в присутствии падре Кристофоро, – хотел бы я знать, какие доводы приводил этот пес в доказательство... в доказательство того, что моя невеста... не должна быть моей невестой.

– Бедный Ренцо! – печально отвечал монах, кротким взглядом как бы призывая его к умиротворению. – Если б насильник, собираясь совершить несправедливость, всегда был обязан давать объяснения, дела шли бы не так, как идут теперь.

– Стало быть, этот пес заявил, что он не хочет просто потому, что вообще не хочет?

– Он даже и этого не сказал, бедный мой Ренцо. Ведь это уже было бы большим шагом вперед, если бы, совершая беззаконие, тираны открыто признавались в нем.

– Но что-то ведь он должен был сказать? Что же говорил он, это исчадие ада?

– Слова его я слышал, но не сумел бы повторить их тебе. Слова несправедливого, но все-таки сильного человека доходят до нас и испаряются. Он может разгневаться на то, что ты выказываешь подозрение на его счет, и вместе с тем дать тебе почувствовать, что подозрение твое вполне основательно; он может оскорблять – и все же считать себя самого обиженным, издеваться – и требовать удовлетворения, устрашать – и плакаться, быть наглым – и считать себя безупречным. Не спрашивай больше об этом. Он не произнес ни ее имени, ни твоего, не подал и виду, что знает вас, не заявил никаких притязаний, но... но, увы, я должен был понять, что он непреклонен. Тем не менее будем уповать на Бога. А вы, бедняжки мои, не падайте духом; и ты, Ренцо, поверь мне, что я готов войти в твое положение и чувствую то, что происходит в твоей душе. Но – терпение! Это – суровое слово, горькое для неверующего. Но ты... Неужели ты не захочешь подарить Господу Богу день-другой, вообще – сколько ему понадобится времени для того, чтобы дать восторжествовать справедливости? Время в Его власти, и все в Божьей воле! Положись на Всевышнего, Ренцо, и знай... знайте все вы, что у меня в руках уже есть нить, чтобы оказать вам помощь. Ничего больше пока я сказать не могу. Завтра я уж не поднимусь к вам сюда, мне придется весь день пробыть в монастыре, – все ради вас. Ты, Ренцо, постарайся прийти туда; если же по какому-нибудь непредвиденному случаю ты сам не сможешь, тогда пошлите надежного человека, какого-нибудь толкового мальчугана, – я через него дам вам знать обо всем, что произойдет. Однако уже темнеет, мне надо спешить в монастырь. Верьте же и не падайте духом! Прощайте!

С этими словами он поспешно вышел и вприпрыжку, почти бегом, стал спускаться по извилистой и каменистой тропке, лишь бы не запоздать в монастырь, рискуя получить здоровую нахлобучку либо – что для него было гораздо тягостнее – епитимию, которая лишила бы его возможности на следующий день быть во всеоружии для выполнения того, что потребуют интересы его любимцев.

– Вы слышали, что он сказал про эту... как ее... про нить, которая есть у него для оказания нам помощи? – сказала Лючия. – Надо довериться ему. Это такой человек, что если он обещает десять...

– Если дело только в этом, – прервала Аньезе, – ему бы следовало выразиться пояснее либо отозвать меня к сторонке и сказать, в чем тут дело...

– Пустая болтовня! Я сам справлюсь, сам! – прервал, в свою очередь, Ренцо, принявшись ходить взад и вперед по комнате. Его голос и взгляд не оставляли ни малейшего сомнения насчет смысла этих слов.

– Ренцо! – воскликнула Лючия.

– Что вы хотите сказать? – подхватила Аньезе.

– А что тут говорить? Я разделаюсь с ним сам. Пусть в нем сидит хоть сто, хоть тысяча чертей, – в конце концов, ведь и он из костей да мяса...

– Нет, нет, ради самого Неба!.. – начала было Лючия, но слезы заглушили ее слова.

– Таких слов не следует говорить даже в шутку! – сказала Аньезе.

– В шутку?! – вскричал Ренцо, остановившись перед сидевшей Аньезе и уставившись на нее, вытаращив глаза. – Шутка! Вот увидите, какая это шутка!

– Ренцо! – с усилием, сквозь рыдания, произнесла Лючия, – я никогда не видала вас таким.

– Ради самого Неба, не говорите таких вещей, – торопливо заговорила Аньезе, понижая голос. – Вы забыли, сколько рук в его распоряжении? И даже если бы... Да Боже избави! На бедных всегда найдется расправа.

– Я сам расправлюсь, поняли? Пора, наконец! Дело нелегкое, и я это знаю. Он здорово бережется, пес кровожадный. Знает, в чем дело! Но это не важно. Решимость и терпение, и час его настанет! Да, я расправлюсь... я избавлю всю округу... сколько людей станет благословлять меня... А потом – в три прыжка...

Ужас, который охватил Лючию при этих вполне определенных словах, осушил ее слезы и дал силу заговорить. Отняв руки от заплаканного лица, она печально и вместе с тем решительно сказала Ренцо:

– Стало быть, вам уже неохота взять меня в жены. Я дала слово юноше, в котором был страх Божий; а человек, который... Будь он даже огражден от всякой расправы, от всякой мести, будь он хоть королевский сын...

– Ну что ж! – закричал Ренцо с исказившимся лицом. – Вы не достанетесь мне, зато не достанетесь и ему. Я останусь здесь без вас, а он отправится ко всем...

– Нет, нет, Бога ради, не говорите так, не делайте таких глаз!.. Я не могу, не могу видеть вас таким! – воскликнула Лючия, в слезах и мольбе ломая руки; Аньезе тем временем звала юношу по имени, трясла его за плечи, за руки, чтобы как-нибудь успокоить.

Некоторое время он стоял неподвижно и, задумавшись, вглядывался в умоляющее лицо Лючии. Потом вдруг зловеще взглянул на девушку, отступил назад и, указывая на нее пальцем, закричал:

– Да, ее, ее он хочет! Смерть ему!

– А я-то, какое же я вам причинила зло? Почему вы хотите моей смерти? – сказала Лючия, бросаясь перед ним на колени.

– Вы? – отвечал он голосом, в котором звучал гнев иного рода, но все же гнев. – Вы? Где же ваша любовь? Чем вы ее доказали? Разве я не умолял вас, не умолял без конца? А вы все «нет» да «нет»!

– Я согласна, согласна, – порывисто отвечала Лючия, – пойду к курато, завтра или хоть сейчас, если вам этого хочется. Только будьте прежним Ренцо, – я пойду.

– Вы обещаете мне это? – сказал Ренцо, и лицо и голос его сразу смягчились.

– Обещаю!

– Так помните же свое обещание!

– Благодарю тебя, Создатель! – воскликнула Аньезе, обрадованная вдвойне.

Думал ли Ренцо во время этой сильной вспышки гнева о том, какую пользу можно извлечь из испуга Лючии? И не постарался ли он несколько искусственно раздуть этот гнев, дабы он оказал свое действие? Наш автор заявляет, что ничего не ведает, а я думаю, что и сам Ренцо хорошенько не знал этого. Несомненно одно: он действительно был взбешен наглостью дона Родриго и жаждал согласия Лючии; а когда две сильные страсти одновременно клокочат в груди человека, никто, и меньше всего он сам, не в состоянии отчетливо различить голоса бушующих в нем страстей и сказать с уверенностью, которая из них берет верх.

– Я обещала вам, – ответила Лючия тоном робкого и любящего упрека, – но и вы обещали мне не буянить, положиться в этом деле на падре Кристофоро.

– Боже мой! Да из-за кого же я так безумствую? Вы, кажется, уже собираетесь идти на попятную, а меня хотите заставить выкинуть какую-нибудь штуку?

– Нет-нет, – отвечала Лючия, снова испугавшись. – Я обещала и не отступлюсь. Но посмотрите, как вы меня заставили дать обещание. Не дай только Бог...

– Почему, Лючия, вам хочется видеть все в черном свете? Ведь Господь ведаёт, что мы никого не обидели.

– В последний раз обещайте мне хотя бы это.



– Обещаю честным словом бедняка.

– Но на этот раз сдержите слово, – сказала Аньезе.

Здесь автор признаётся, что он не знает, была ли Лючия все-таки недовольна тем, что ее принудили дать согласие. Мы, со своей стороны, тоже оставляем это под сомнением.

Ренцо хотел было продолжить беседу и подробно договориться обо всем, что предстояло сделать на другой день, но было уже поздно, и женщины пожелали ему спокойной ночи. На их взгляд, неприлично было засиживаться так поздно.

Для всех троих эта ночь оказалась спокойной настолько, насколько это возможно после дня, полного волнений и забот, и в канун другого дня, намеченного для важного дела, исход которого сомнителен. Ренцо объявился рано поутру и подготовил совместно с женщинами или, точнее сказать, с Аньезе предстоящее вечером великое предприятие. Они поочередно выдвигали и разрешали всевозможные затруднения, предусматривали всевозможные препятствия и принимались оба разом описывать дело, словно рассказывая об уже свершившемся. Лючия слушала и, не одобряя словами того, чего не могла одобрить в глубине души, обещала сделать все насколько сумеет лучше.

– Ну а вы спуститесь в монастырь повидаться с падре Кристофоро, как он вам говорил вчера вечером? – спросила Аньезе у Ренцо.

– Как бы не так! – ответил тот. – Вы ведь знаете, какие у него чертовские глаза; он у меня на лице, как в книге, сразу прочтет, что мы что-то затеваем. А уж если начнет задавать вопросы,

то мне ни о чем не отвертеться. К тому же мне надо остаться здесь налаживать дело. Лучше уж вы пошлите кого-нибудь.

– Я пошлю Менико.

– Отлично, – отвечал Ренцо и ушел, как он сказал, «налаживать дело».

Аньезе пошла в один из соседних домов за Менико. Это был довольно шустрый мальчуган лет двенадцати, который через разных двоюродных братьев и свойственников приходился ей до некоторой степени племянником. Она выпросила его у родителей на весь этот день, так сказать, взаймы «для одной услуги», как она выразилась. Забрав мальчика, она привела его к себе на кухню, накормила завтраком и велела сходить в Пескаренико. Там он должен попасться на глаза падре Кристофоро, а уж тот, когда придет время, отправит его обратно с ответом.

– Падре Кристофоро, знаешь, – такой красивый старик с белоснежной бородой, которого зовут святым.

– Понял, – сказал Менико, – тот, который нас, ребят, всегда ласкает, а иногда раздает нам образки.

– Он самый, Менико! И если он велит тебе немного подождать там же, около монастыря, так ты смотри не отлучайся; да только не ходи с товарищами на озеро смотреть, как ловят рыбу, да не балуйся с сетями, развешанными по стене для сушки, и вообще никаких своих обычных игр не затевай...

Надо сказать, что Менико был большой мастер пускать по воде рикошетом камни. А ведь известно, что все мы, большие и малые, охотно делаем то, в чем набили себе руку, – я не говорю, что только такие, как Менико.

– Ну, само собой, тетенька! Ведь я уже не маленький.

– Хорошо, так будь умником; а когда вернешься с ответом, посмотри-ка: вот эти две новенькие парпальолы – для тебя.

– Так вы мне сейчас их и дайте, какая разница!

– Нет-нет, ты их, пожалуй, проиграешь. Ступай и веди себя как следует. Может быть, получишь тогда еще больше.

В оставшуюся часть этого долгого утра обнаружили некоторые новые явления, которые вызвали немалые подозрения у женщин, и без того уже встревоженных. Какой-то нищий, далеко не до такой степени отощавший и оборванный, какими обычно бывают его собратья, с лицом подозрительно мрачным и зловещим, вошел попросить милостыню, оглядываясь по сторонам, точно соглядатай. Ему дали кусок хлеба; он взял его и спрятал с нескрываемым безразличием. Потом задержался и не без наглости, но вместе с тем как-то нерешительно стал задавать разные вопросы, на которые Аньезе торопливо отвечала, стараясь скрыть истину. Собираясь уходить, нищий притворился, что ошибся дверью, и вошел в ту, которая вела на лестницу, где так же наспех окинул все взглядом, насколько это было возможно. Когда ему крикнули вслед: «Эй, эй, вы куда, почтенный? Сюда надо, сюда!» – он вернулся и вышел, куда ему указали, извинившись с покорностью и деланным смирением, которые никак не вязались с резкими чертами его лица. После него появлялись время от времени другие странные лица. Нелегко было определить, что это были за люди, но не верилось, что это безобидные прохожие, какими они хотели казаться. Один зашел под предлогом, чтобы ему показали дорогу; другие, проходя мимо дверей, замедляли шаг и искоса заглядывали в комнату через дворик, стараясь что-то высмотреть, не вызывая подозрений. Наконец к полудню это надоедливое хождение кончилось. Аньезе время от времени вставала и, пройдя дворик, выглядывала из калитки на улицу. Осмотревшись по сторонам, она возвращалась, говоря: «Никого нет», и произносила эти слова с явным удовольствием, которое разделяла и слушавшая ее Лючия, причем ни та ни другая не знали толком, почему их это радует. Однако обе все же чувствовали какое-то

смутное беспокойство, лишившее их, особенно дочь, значительной доли бодрости, которой они запаслись было для вечера.

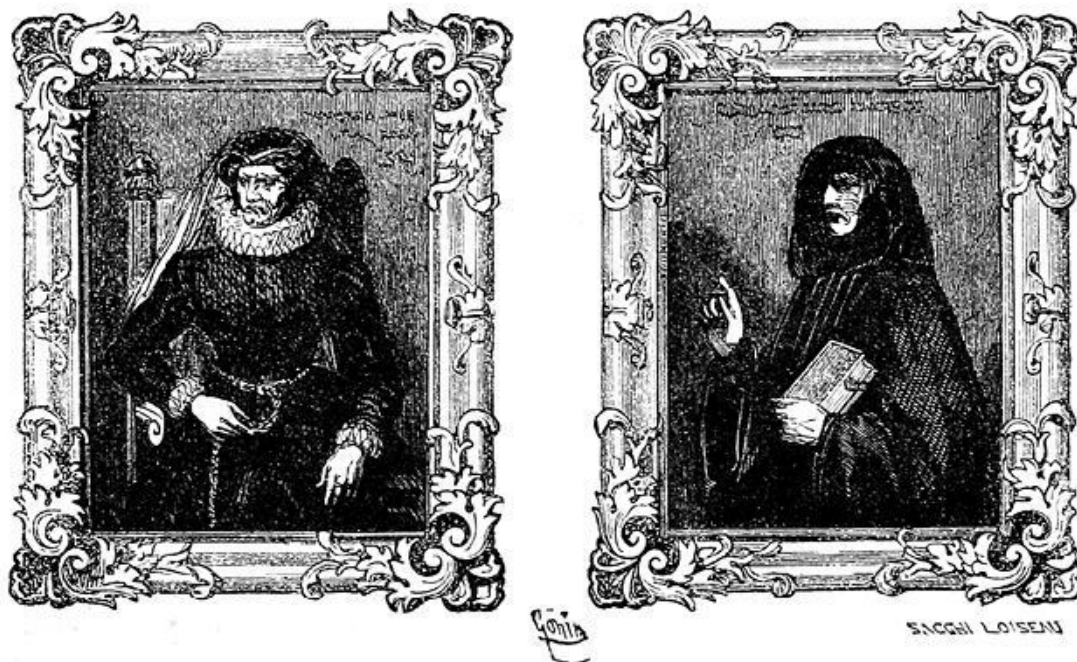


Читателю, однако, пора узнать кое-что более определенное относительно этих таинственных бродяг. И дабы осведомить его обо всем, нам придется вернуться назад и снова заняться доном Родриго, которого мы оставили вчера, после ухода падре Кристофоро, в одиночестве в одной из комнат его палатки.

Как мы уже сказали, дон Родриго мерил большими шагами эту комнату, со стен которой на него глядели фамильные портреты нескольких поколений. Когда он подходил вплотную

к стене и поворачивался, он видел прямо перед собой одного из своих воинственных предков, грозу врагов и собственных солдат, со свирепым взором, короткими жесткими волосами, длинными, торчащими в стороны, остро закрученными усами и со срезанным подбородком. Герой изображен был во весь рост, в маске, в набедренных латах, панцире, нарукавниках, перчатках – всё из железа. Правая рука его упиралась в бедро, левая покоилась на эфесе шпаги. Дон Родриго смотрел на него; когда же подходил к самому портрету и поворачивался, перед ним был уже другой предок – судья, гроза тяжущихся и адвокатов; он сидел в огромном кресле, обитом красным бархатом, облаченный в просторную черную мантию. Весь в черном, за исключением белого воротника с широкими брыжами и горностаевой подкладки, край которой был откинута (что было отличительным признаком сенаторов, которые, разумеется, носили эту подкладку только зимой, – вот почему никогда не встретишь портрета сенатора в летнем одеянии), – тощий, с нахмуренными бровями, он держал в руках какое-то прошение и, казалось, говорил: «Посмотрим». По одну сторону от него была важная дама, гроза своих служанок, по другую – аббат, гроза своих монахов, – словом, все это были люди, которые нагоняли страх, и казалось, от холстов все еще веяло этим страхом. Лицом к лицу с такими воспоминаниями дон Родриго пришел в совершенное бешенство. Он сгорал от стыда и никак не мог успокоиться при мысли, что какой-то монах дерзнул приставать к нему с поучениями в духе пророка Натана. Он строил и отвергал всевозможные планы мести, желая удовлетворить как свою страсть, так и то, что он называл честью. И лишь когда (подумайте только!) у него в ушах вновь звучало недосказанное пророчество и его, что называется, мороз продирает по коже, он почти готов был отбросить всякую мысль о получении этого двойного удовлетворения. В конце концов, чтобы чем-нибудь заняться, он позвал слугу и приказал передать извинение честной компании, поскольку его задерживает неотложное дело. Когда слуга вернулся и доложил, что господа ушли, прося засвидетельствовать свое почтение хозяину, дон Родриго спросил, продолжая расхаживать:





– А граф Аттилио?

– Они ушли с другими господами, синьор.

– Хорошо. Шесть человек свиты для прогулки – живо! Шпагу, плащ, шляпу – живо!

Слуга удалился, отвесив поклон. Вскоре он вернулся, принеся роскошную шпагу, которую хозяин пристегнул к бедру; плащ, что был наброшен на плечи; шляпу с пышными перьями, которую он надел на голову, а потом горделиво надвинул на глаза, – признак того, что в море неспокойно. Дон Родриго вышел и в дверях увидел шестерых разбойников в полном вооружении; выстроившись в шеренгу и встретив его поклоном, они двинулись за ним следом. Брюзжащий, хмурый, спесивый больше обычного, он отправился на прогулку в сторону Лекко. Крестьяне и мастеровые при виде его жалась к стене и издали, обнажив голову, отвешивали ему низкие поклоны, которые он оставлял без внимания. Как подчиненные кланялись ему и те, кто в глазах остального населения сами считались синьорами; дело в том, что во всей округе не было ни одного человека, который хоть отдаленно мог бы сравниться с ним по своему происхождению, богатству, связям и стремлению использовать все, чтобы возвыситься над другими. К таким людям он выказывал величавое благоволение. В тот день не случилось, но, когда случалось ему встретиться с испанцем, синьором кастелланом, поклон с обеих сторон был одинаково глубокий, словно дело происходило между двумя властителями, которым нечего делить между собой, но которые, приличия ради, оказывают честь достоинству друг друга. Чтобы развеять хандру, чем-нибудь отогнать образ монаха, неотступно тревоживший его воображение, и набраться новых впечатлений, дон Родриго в этот день завернул в один дом, куда обычно ходило много народа и где его приняли с тем суетливым и почтительным радушием, которое берегут для людей, умеющих заставить сильно любить себя и столь же сильно бояться. Лишь с наступлением ночи вернулся он в свое палаццо. Граф Аттилио тоже возвратился к этому времени. Им принесли ужин, за которым дон Родриго был задумчив и мало говорил.

– Кузен, когда же вы заплатите мне пари? – сказал с хитрой усмешкой дон Аттилио, как только слуги убрали со стола и удалились.

– День Сан-Мартино еще не прошел.

– Все равно, можете уплатить хоть сейчас – ведь успеют пройти все святые по календарю, прежде чем...

– А это мы еще посмотрим.

– Кузен, вы напрасно разыгрываете из себя хитреца. Я ведь все понял и настолько уверен в выигрыше, что готов заключить хоть еще одно пари.

– Насчет чего?

– А насчет того, что монах... Ну, словом, этот самый монах обратил вас на путь истинный.

– Вот уж сказали!

– Обратил, милейший мой, несомненно обратил. И я, со своей стороны, даже рад этому. В самом деле, ведь это же будет великолепное зрелище – видеть вас кающимся в своих грехах, с опущенными долу очами. А монах-то как возгордится! Каким торжествующим, с высоко поднятой головой вернется он в свой монастырь! Не каждый день бывает такой улов! Можете не сомневаться, что он вас станет ставить всем в пример, а когда отправится с проповедью чуть подальше, будет рассказывать о ваших похвальных деяниях. Так вот, кажется, и слышу его. – И он продолжал тоном проповеди, гнусава и сопровождая слова иронической жестикующей: – «В некоторой стране мира сего, которую я, по долгу уважения, не стану называть, проживал, о возлюбленные чада мои, и проживает поныне некий распутный дворянин, скорее друг прелестных женщин, чем доблестных мужей. Привыкши любую траву собирать в пучок, бросил он взор свой на...»

– Довольно, довольно, – прервал его дон Родриго, которого слова кузена не то обозлили, не то рассмешили. – Если хотите удвоить пари, я согласен.

– Черт возьми! Уж не вы ли обратили монаха?

– Не говорите мне о нем. А что касается пари, то дело решится в день Сан-Мартино.

Любопытство графа было возбуждено. Он засыпал кузена вопросами, но дон Родриго сумел уклониться от ответа, ссылаясь все время на решающий день и не желая выдать противной стороне своих намерений, которые еще не только не осуществлялись, но даже и не определились окончательно.

На следующее утро дон Родриго проснулся прежним доном Родриго. Тревога, вызванная словами: «Настанет день...», исчезла вместе с ночными сновидениями, осталось лишь бешенство, разжигаемое чувством стыда за минутную слабость. Триумфальная прогулка, поклонны, оказанный ему прием и подзадоривания кузена – все это немало способствовало возврату прежней отваги. Едва поднявшись, он приказал позвать Гризо. «Большие предстоят дела», – сказал себе старик-слуга, получивший приказание, ибо человек, носивший эту кличку, был не кто иной, как главарь бравы, тот, на кого возлагались самые рискованные и самые злодейские предприятия, наиболее доверенное лицо из приближенных синьора, преданный хозяину душой и телом как из благодарности, так и из корысти. Открыто, среди бела дня убив человека, он пришел просить защиты у дон Родриго, и тот, прикрыв Гризо своей ливреей, спас его от всяких розысков со стороны правосудия. Так, ценой участия в любом преступлении, какое ему прикажут совершить, он купил себе безнаказанность за первое, им содеянное. Для дон Родриго это было немаловажным приобретением: не говоря уже о том, что Гризо был, несомненно, самым храбрым из всей банды, он вместе с тем служил живым доказательством того, что его патрон может безнаказанно позволять себе противозаконные поступки, – так что могущество дон Родриго от этого возросло как фактически, так и в сознании всех окружающих.

– Гризо, – сказал дон Родриго, – вот теперь будет видно, чего ты стоишь. До наступления завтрашнего дня Лючия должна быть в этом палаццо.

– Никто никогда не посмеет сказать, что Гризо уклонился от выполнения приказа своего господина.

– Возьми сколько нужно людей, приказывай и распоряжайся, как сочтешь нужным, – лишь бы дело закончилось благополучно. Но главное – смотри, чтобы она при этом не пострадала.

– Синьор, немножко припугнуть ее придется, чтобы она не слишком шумела, – без этого никак не обойтись!

– Припугнуть... ну да, конечно, это неизбежно. Но только чтобы ни один волосок не упал с ее головы, а главное – окажи ей полнейшее уважение. Понял?

– Синьор, цветка и то нельзя сорвать и принести вам без того, чтобы не тронуть его. Но допущено будет лишь самое необходимое.

– Все под твою ответственность. А все же, как ты за это примешься?

– Я об этом как раз думал, синьор. На наше счастье, ее дом находится на краю деревни. Нам нужно место для засады, и как раз неподалеку стоит одинокий заброшенный домик, среди поля, тот самый дом... – впрочем, ваша светлость об этих вещах ничего не знает... – дом, который несколько лет назад сгорел, а средств на восстановление не было, и его бросили, а теперь туда слетаются ведьмы, ну да мне наплевать, ведь нынче не шабаш! Наши крестьяне с их предрассудками ни за какие деньги, ни в какую ночь недели не посмеют в него сунуться. Стало быть, мы можем отправиться туда и обосноваться там в полной уверенности, что никто не явится и не испортит нам дела.

– Отлично! А дальше?

Тут Гризо стал излагать свой план, а дон Родриго разбирал его, пока они не договорились о том, как довести предпринятое до конца таким образом, чтобы замести следы. Подумали они и о том, как ложными показаниями отвести подозрения в другую сторону, как принудить к молчанию несчастную Аньезе, как нагнать на Ренцо такого страха, который заглушил бы в нем горе и отогнал мысль прибегнуть к правосудию, отбив всякую охоту жаловаться. Обдумали они и все прочие подлости, необходимые для успеха главной. Мы не станем рассказывать обо всех этих уговорах, ибо они, как увидит читатель, не нужны для понимания нашей истории, да мы и сами рады не вынуждать читателя и дальше слушать совещание двух гнусных мошенников. Достаточно сказать, что, когда Гризо уже собрался уходить, чтобы приступить к выполнению заговора, дон Родриго вернул его словами:

– Слушай, если этот дерзкий невежа случайно попадет нынче вечером в ваши лапы, недурно было бы ему хорошенько всыпать – для памяти. Тогда назавтра приказание молчать подействует на него вернее. Но нарочно отыскивать его не надо, чтобы не портить того, что поважнее, – ты меня понял?

– Предоставьте дело мне, – почтительно, но не без хвастовства ответил, кланяясь, Гризо. С этим он удалился.

Все утро ушло на разведку с целью изучения места действия. Лжениций, проникший в бедный домик Лючии, был не кто иной, как сам Гризо, приходивший лично снять план; лже-странниками были подчиненные ему негодяи, которым для работы под его руководством достаточно было и поверхностного знакомства с местом. Произведя разведку, они больше не показывались, чтобы не вызывать лишних подозрений.

Когда все вернулись в палаццо, Гризо подвел итог и окончательно установил план похищения, распределил роли, дал указания. Все это не ускользнуло от внимания старого слуги, который зорко приглядывался и чутко прислушивался ко всему происходившему и заметил, что затевается нечто крупное. Наблюдая, а кое о чем и расспрашивая; ловя то тут, то там обрывки сведений; стараясь понять неясные слова и истолковать таинственные намеки, он в конце концов хорошо уяснил себе, что же собирались проделать в эту ночь. Но когда ему все удалось выяснить, до наступления ночи было уже недалеко и небольшой авангард бравии уже отправился в упомянутый полуразрушенный домишко. Бедный старик, хоть и понимал, с каким риском связана затеянная им игра, а к тому же опасался, подобно пизанцам, опоздать

со своей подмогой, все же хотел сдержать свое обещание. Сославшись на желание подышать свежим воздухом, он отлучился из дому и во весь дух пустился бежать в монастырь сообщить падре Кристофоро обещанное. Немного спустя тронулись в путь и остальные бравы; они спустились порознь, чтобы не показаться единым отрядом. Гризо отправился последним. Оставались лишь носилки, их должны были доставить на место поздно вечером, что и было сделано. Когда все собрались, Гризо послал троих в остерию: один должен был стать у входа, наблюдая за всем, что происходит на улице, и следить, когда все жители разойдутся по домам; двое других должны были расположиться в самой остерии в роли любителей выпивки и игры и тем временем выслеживать, не обнаружится ли чего-нибудь достойного внимания. Сам Гризо с большим шайком остался ждать в засаде.

А бедный старик все еще спешил в монастырь. Трое разведчиков заняли свои места. Солнце садилось. В это время Ренцо пришел к женщинам и сказал: «Тонио и Жервазо ждут меня на улице; я иду с ними в остерию закусить; когда зазвонят к вечерне, мы придем за вами. Смелей, Лючия! Все зависит от одного мгновения». Лючия вздохнула и повторила: «Смелее», но звук ее голоса противоречил смыслу сказанного.

Когда Ренцо и двое его товарищей пришли в остерию, они увидели неизвестного, стоявшего на страже. Прислонившись спиной к косяку и скрестив руки на груди, он наполовину загоразивал дверь и все время поглядывал то вправо, то влево, при этом попеременно сверкали зрачки и белки его хищных глаз. Плоский малинового бархата берет, надетый набекрень, скрывал одну половину его чуба, распадавшегося надвое и ниспадавшего с загорелого лба двумя косицами, которые сходились за ушами на затылке и были сколоты гребнем. На руке у него висела здоровенная дубина; настоящего оружия на нем не было видно, но стоило взглянуть ему в лицо – и даже младенец догадался бы, что оружие было при нем в несметном количестве. Когда Ренцо, шедший впереди других, собирался войти, тот, не трогаясь с места, в упор посмотрел на него; но юноша, решивший избегать каких бы то ни было споров, подобно всякому, кто замешан в щекотливом деле, не подал виду, что замечает незнакомца, и, не сказав даже: «Посторонитесь», прошел боком вперед, задев за другой косяк, через пространство, оставленное этой оригинальной кариатидой. Обоим его спутникам пришлось, чтобы войти, проделать тот же маневр. В остерии они увидели других – голоса их были слышны уже с улицы, – тех самых двух бравы, которые, сидя на углу стола, играли в мору, крича оба разом (что, впрочем, требуется в этой игре) и поочередно угощаясь из большого кувшина, стоявшего между ними. Они тоже в упор поглядели на вновь пришедших; особенно один из них, тот, что высоко поднял руку с тремя здоровенными растопыренными пальцами и все еще широко разевал рот, только что громогласно выкрикнув: «Шесть!» – смерил Ренцо с головы до ног, затем он мигнул товарищу, потом тому, который стоял в дверях, – тот ответил кивком головы. Ренцо, почуввав недоброе, нерешительно посмотрел на своих гостей, словно желая прочесть на их лицах объяснение всех этих знаков, однако последние отражали лишь огромный аппетит. Хозяин посмотрел на Ренцо, как бы ожидая его приказаний. Ренцо отозвал его в соседнюю комнату и заказал ужин.



– Кто эти незнакомцы? – спросил он вполголоса, когда хозяин вернулся с грубой скатертью под мышкой и с кувшином в руке.

– Я их не знаю, – ответил хозяин, расстилая скатерть.

– Как? Ни одного?

– Вы же хорошо знаете, – ответил хозяин, продолжая обеими руками расправлять скатерть, – что первое правило нашей профессии – не расспрашивать о чужих делах; даже женщины наши и те не отличаются любопытством. Да и где уж тут, при таком множестве людей, которые приходят и уходят, – у нас ведь словно в морской гавани – то есть, разумеется, когда урожай хороший; но не будем падать духом, авось вернутся хорошие времена. Довольно с нас и того, чтобы посетители были приличными людьми, а кто они такие, это нас не касается. А теперь позвольте предложить вам блюдо биточков, каких вы никогда, наверное, не отведали.

– Почему вы знаете?.. – подхватил было Ренцо, но хозяин уже умчался в кухню.

Пока он брал там сковороду с вышеупомянутыми биточками, к нему потихоньку подошел тот браво, который давеча смерил глазами нашего юношу, и сказал вполголоса:

– Что это за люди?

– Хорошие парни, здешние, – ответил хозяин, выкладывая биточки на блюдо.

– Ладно, но как их зовут? Кто они такие? – настаивал тот уже несколько грубоватым тоном.

– Одного звать Ренцо, – ответил хозяин тоже вполголоса, – славный юноша, порядочный, прядильщик шелка, отлично знает свое дело. Другой – крестьянин, по имени Тонио, добрый товарищ, веселый малый; жаль только, что с деньжатами у него туго, не то бы он тут все и оставил. А третий – так, простофиля, а есть все-таки горазд, когда его угощают. Позвольте-ка!

И, ловким прыжком проскочив между печкой и собеседником, он понес блюдо по назначению.

– Почему вы знаете, – снова начал Ренцо при его появлении, – что они порядочные люди, если вы не знаете, кто они?

– По повадке, милый мой: человек всегда узнается по повадке. Тот, кто пьет вино без критики, платит по счету не торгуясь, не затевает ссор с другими посетителями, а если и зате-

вает ножевую расправу, так уходит поджидать противника на улицу, подальше от остерии, так, чтобы бедняге-хозяину не приходилось впутываться в это дело, – тот и есть порядочный человек. А все же, когда знаешь людей как следует, вот как мы вчетвером знаем друг друга, оно куда лучше. Да какого черта, что вам за охота все разузнавать, когда вы жених и в голове у вас должно быть совсем другое? Да еще перед такими биточками, которые, кажется, и мертвого поднимут на ноги? – Сказав это, он снова помчался на кухню.

Примечая, как по-разному отвечал хозяин на расспросы, наш автор говорит, что такой уж это был человек: во всех своих разговорах он, вообще-то, выказывал себя большим другом порядочных людей, но на деле проявлял гораздо больше угодливости перед теми, кто имел репутацию или наружность негодяев. Своеобразный характер, не правда ли?



Ужин получился не очень веселый. Обоим приглашенным хотелось бы получить от него полное удовольствие, но угощавший, озабоченный всем тем, что известно читателю, расстроенный и даже несколько обеспокоенный странным поведением незнакомцев, только и ждал, как бы улизнуть. Разговор из-за незнакомцев велся вполголоса, слова падали отрывисто и вяло.

– А как хорошо, – вдруг ни с того ни с сего выпалил Жервазо, – что Ренцо собрался жениться и что ему нужны...

Ренцо очень строго посмотрел на него.

– Замолчишь ли ты, скотина? – сказал Тонио, сопровождая этот титул толчком в бок.

Беседа становилась все более вялой. Ренцо, отставая в еде, как и в питье, старался подливать обоим свидетелям в меру, чтобы придать им немного духу, но не довести до головокружения. Когда убрали со стола и счет был оплачен тем, кто ел меньше всех, всем троим пришлось снова пройти мимо незнакомцев, которые снова повернулись в сторону Ренцо, так же как и когда он входил в остерию. Отойдя на несколько шагов, Ренцо обернулся и увидел, что те двое, которых он оставил сидящими в кухне, шли за ним по пятам. Тогда он остановил своих това-

рищей, словно говоря: «Посмотрим, что этим господам от меня угодно». Но двое, заметив, что за ними наблюдают, в свою очередь остановились, поговорили вполголоса и повернули назад. Если бы Ренцо находился поближе к ним и мог расслышать их слова, они показались бы ему весьма странными. Один из разбойников сказал:

– А ведь большая была бы нам слава, не говоря уже о магарыче, если бы, вернувшись в палаццо, мы смогли бы рассказать, как живо пересчитали ему все ребра, вот просто так, сами по себе, без всякого приказания со стороны Гризо.

– И испортили бы этим главное дело, – ответил другой. – Видишь, он что-то заподозрил: останавливается и смотрит на нас. Эх! Кабы было попоздней! Вернемся-ка назад, чтобы не возбуждать подозрений. Смотри, народ идет со всех сторон; дадим им усесться на насест.

Действительно, кругом заметно было движение и стоял тот неумолчный шум, который всегда бывает под вечер в деревне, сменяющийся через несколько минут торжественной ночной тишиной. Женщины возвращались с поля, неся на руках младенцев и ведя за руку детей постарше, которых они учили повторять за собой вечернюю молитву; возвращались мужчины с заступами и мотыгами на плечах. В открытые двери там и сям видно было сверкание огоньков, зажженных к скудному ужину. На улице слышался обмен приветствиями, изредка – слова о плохом урожае, голодном годе; и, заглушая разговоры, раздавались мерные и звонкие удары колоколов, возвещавшие конец дня. Увидав, что двое соглядатаев удалились, Ренцо пошел своей дорогой; темнота быстро сгущалась, и время от времени он напоминал о чем-либо то одному, то другому из братьев. Когда они подходили к домику Лючии, наступила уже ночь.

Промежуток между первой мыслью о страшном предприятии и его выполнением, как сказал один не лишенный гениальности варвар, есть сон, наполненный призраками и страхами. Лючия уже много часов была во власти такого тревожного сна; и даже Аньезе, сама Аньезе, зачинщица дела, впала в раздумье и с трудом находила слова, чтобы подбодрить дочь. Однако, когда наступает момент действовать, душа пробуждается и совершенно преображается. Страх и смелость, боровшиеся друг с другом, сменяются иными страхами и иной смелостью; задуманное встает перед нашим умственным взором совсем по-новому: то, что прежде страшило больше всего, кажется вдруг легко исполнимым; и наоборот, препятствие, на которое прежде едва обращали внимание, представляется огромным; воображение в отчаянии бьет отбой; руки и ноги словно отказываются повиноваться, и сердце не держит обещаний, данных с такою уверенностью. Когда Ренцо робко постучался в дверь, Лючию охватил такой ужас, что она решила претерпеть все, что угодно, разлучиться с ним навеки, только бы не выполнять принятого решения. Но когда он показался и сказал: «Вот и мы, – идем!» – когда все обнаружили готовность тронуться в путь без колебаний, так как дело было решено бесповоротно, у Лючии не хватило духу оказать сопротивление и, с трепетом взяв под руку мать, она тронулась со всей компанией искателей приключений, словно увлекаемая неведомой силой.

Молча и неторопливо вышли они из своего домика в темноту и пустились в путь стороной от деревни. Проще всего было бы просто-напросто пересечь деревню – это привело бы их прямо к дому дона Абондио; но они выбрали обходный путь, чтобы остаться незамеченными. Тропинками меж садов и полей приблизились они к дому курато и тут разделились. Обрученные спрятались за углом дома. Аньезе осталась с ними, но держалась несколько впереди, чтобы вовремя перехватить и задержать Перпетую. Тонио с придурковатым Жервазо, который ничего не умел делать без указки, но без которого никак нельзя было обойтись, смело подошли к двери и постучали.

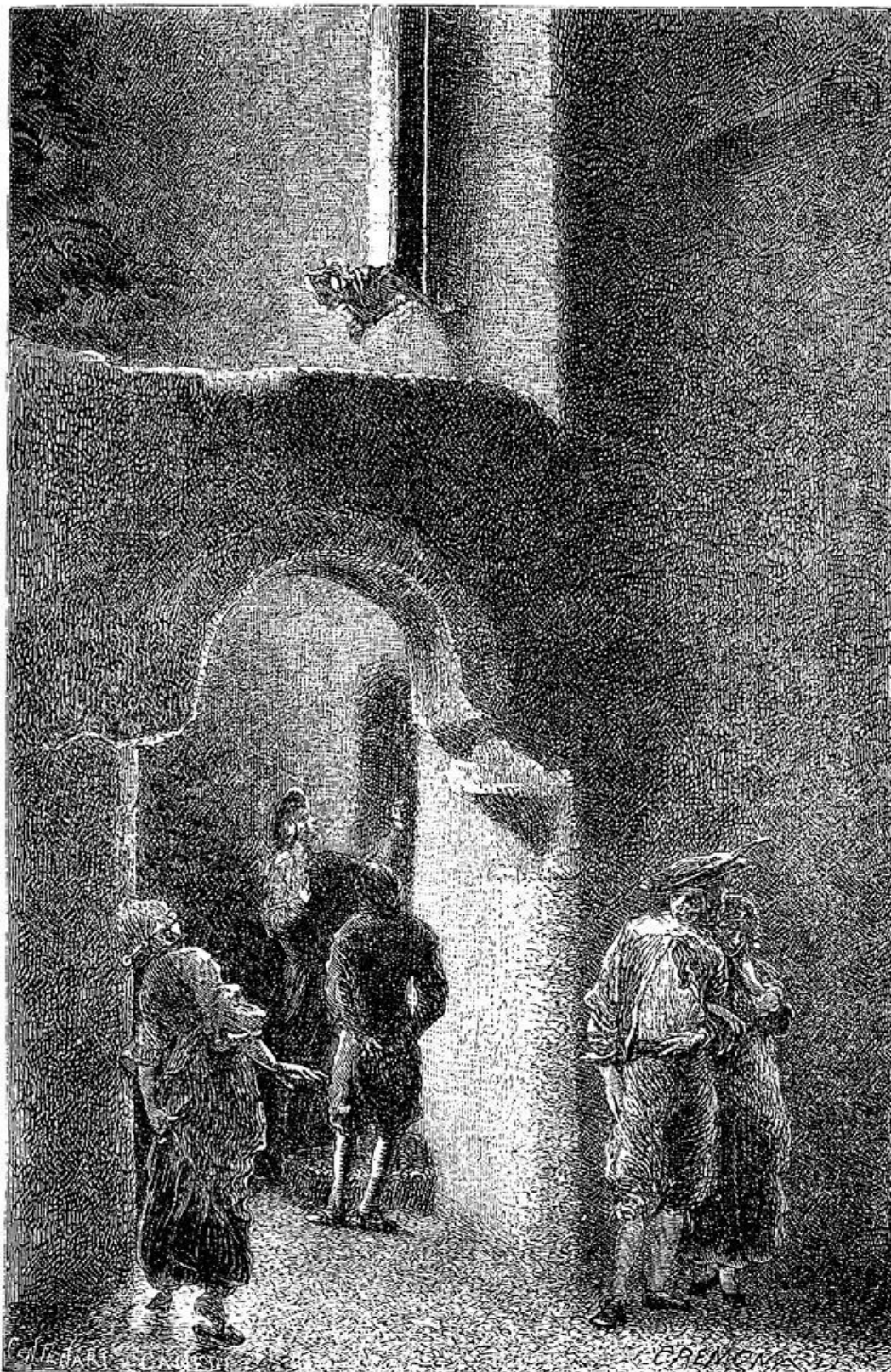
– Кто это в такую поздноту? – раздался голос из растворившегося окна: то был голос Перпетуи. – Больных на деревне, кажись, нет. Уже не несчастье ли какое стряслось?

– Это я, – отвечал Тонио, – я с братишкой, нам надо поговорить с синьором курато.

– Да разве это время для крещеных людей? – отрезала Перпетуя. – Куда как вежливо! Приходите завтра.

– Послушайте-ка: то ли я приду, то ли нет. Я получил кое-какие деньжонки и пришел заплатить долгишко – вы про него знаете. Я принес двадцать пять новеньких берлинг. Ну, коли нельзя, так уж потерпите, эти я и так сумею истратить, а приду, когда наберу другие.





– Погодите, погодите – я мигом. Но зачем же приходить в такой час?

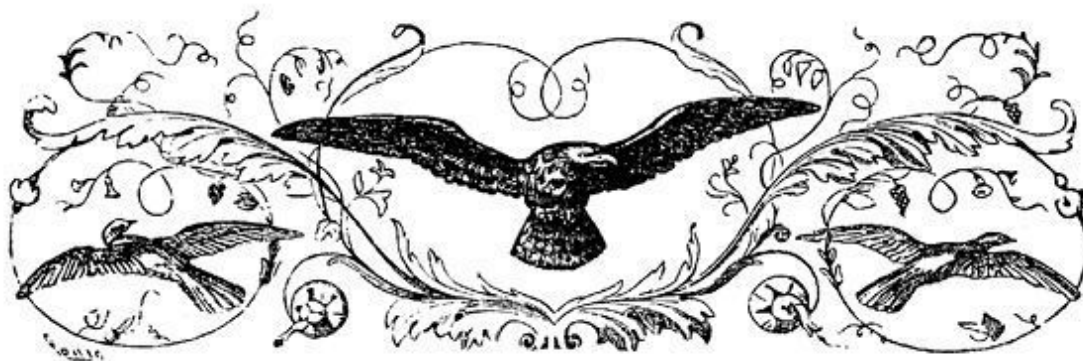
– Да ведь я сам только что получил их. Я и подумал: коли они у меня переночуют, еще неизвестно, как мне насчет них завтра заблагорассудится. Впрочем, что ж поделаешь, – если вам час неудобен, я не возражаю. Я пришел – ну а если не вовремя, так я уйду.

– Нет-нет, погодите минутку, я сейчас вернусь с ответом. – С этими словами она закрыла окно.

Тут Аньезе отделилась от обрученных и, шепнув Лючии: «Смелей, ведь это всего одна минута, все равно что зуб вырвать», присоединилась к двум братьям, стоявшим у входа. Она принялась болтать с Тонио, чтобы Перпетуя, вернувшись отворить дверь, подумала, что она очутилась тут случайно и Тонио на минутку задержал ее.



Глава восьмая



«Карнеад! Кто же это?» – соображал про себя дон Абондио, сидевший в кресле в одной из комнат верхнего этажа, держа перед собой открытую книжицу, когда вошла Перпетуя с докладом. «Карнеад! Где-то я встречал либо слышал это имя; должно быть, это был ученый человек, какой-нибудь знаток литературы в древности, – непременно кто-нибудь из таких, однако что же это был за дьявол, в самом деле?» Бедняга был очень далек от того, чтобы предвидеть, какая буря собиралась над его головой.

Следует сказать, что дон Абондио ежедневно немного почитывал для своего удовольствия. Один соседний курато, имевший небольшую библиотеку, давал ему книжку за книжкой из первых попадавшихся под руку. Книга, над которой в данный момент размышлял дон Абондио, оправлявшийся от вызванной перепугом лихорадки, пожалуй даже более оправившийся (по крайней мере от лихорадки, если не от страха), чем ему хотелось бы это показать, была панегириком в честь Сан-Карло, произнесенным с большим подъемом и выслушанным с восхищением в Миланском соборе два года назад. За любовь свою к науке святой приравни-

вался здесь к Архимеду – и до этого места дон Абондио читал не спотыкаясь, потому что ведь Архимед занимался такими любопытными вещами, так много заставил говорить о себе, что, и не обладая большой ученостью, можно было кое-что знать о нем. Но вслед за Архимедом оратор привлекал к сравнению также и Карнеада – и тут читавший сел на мель. В этот момент и вошла Перпетуя, возвестив о приходе Тонио.

– Так поздно? – удивился в свою очередь дон Абондио, что было вполне естественно.

– Чего же вы хотите? Какой от них можно ждать деликатности? Но если его не поймать на лету...

– Конечно, если я не поймаю его сейчас, кто знает, когда придется его поймать! Пусть войдет... Ой ли? А ты вполне уверена, что это именно он?

– Да ну вас, – ответила Перпетуя и пошла вниз.

Она отворила дверь и крикнула: «Где вы там?» Показался Тонио, и тут же выступила вперед Аньезе, окликнув Перпетуя по имени.

– Добрый вечер, Аньезе, – сказала Перпетуя, – откуда это вы так поздно?

– Да я из... – и она назвала соседнюю деревушку. – Кабы вы знали, – продолжала она, – я и задержалась-то там из-за вас...

– Как так? – спросила Перпетуя и, обратившись к братьям, произнесла: – Входите же, я мигом за вами.

– А так, – отвечала Аньезе, – одна женщина из тех, что дела не знают, а говорить горазды, – вы только подумайте! – без конца повторяла, что вы не вышли замуж ни за Беппе Суолавеккиа, ни за Ансельмо Лунгинья потому, что они вас не хотели брать. А я доказывала, что вы сами им отказали, и тому и другому...

– Конечно же. Ах она лгунья, вот лгунья-то! Да кто же это такая?

– Не спрашивайте меня об этом, я не хочу людей ссорить.

– Ну мне-то уж скажите, вы должны мне сказать, – ах лгунья!

– Ну, словом... вы не поверите, как мне было досадно, что я не знала как следует всей этой истории, я бы ее приперла к стенке.

– Вы только подумайте! – снова воскликнула Перпетуя. – Можно ли так сочинять? – И тут же подхватила: – Уж насчет Беппе все знают, и все могли видеть... Эй, Тонио, притворите-ка дверь и идите себе наверх, я сейчас.

Тонио отозвался изнутри: «Ну что ж, а взволнованная Перпетуя продолжала свой рассказ.

Против дверей дона Абондио, между двумя жалкими хижинами, пролегала узенькая тропка, которая, обогнув их, сворачивала в поле. Аньезе пошла по ней, делая вид, что ей хочется отойти немного в сторонку, чтобы поговорить на свободе; Перпетуя последовала за ней. Когда они свернули и очутились в таком месте, откуда уже нельзя было видеть того, что происходило перед домом дона Абондио, Аньезе громко кашлянула. Это был условный знак. Ренцо услышал его, приободрил пожатием руки Лючию, и они потихоньку, на цыпочках, выступили вперед, держась поближе к стене; подойдя ко входу, они легонько толкнули дверь и украдкой, пригнувшись, вошли в переднюю, где их уже поджидали оба брата. Ренцо как можно тише затворил дверь. И все четверо стали взбираться по лестнице, стараясь шуметь не больше, чем один человек. Добравшись до площадки, братья подошли к двери, которая приходилась сбоку от лестницы; жених с невестой прижались к стене.

– Deo gratias!⁷ – громко возгласил Тонио.

– Тонио, это вы? Войдите! – произнес голос изнутри.

Позванный приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть ему с братом, друг за дружкой. Полоса света, внезапно упавшая на темный пол площадки, заста-

⁷ Благословен Господь! (лат.)

вила Лючию вздрогнуть, словно ее обнаружили. Когда братья вошли, Тонио затворил за собой дверь. Жених с невестой остались впотьмах, неподвижные; они напряженно прислушивались, сдерживая дыхание. В тишине было слышно, как стучало бедное сердечко Лючии.

Как мы уже сказали, дон Абондио сидел при скудном свете крошечного светильника, в потертом кресле, закутавшись в поношенную сутану. На голове у него была старенькая папалина, обрамлявшая его лицо. Две пышные прядки, выбивавшиеся из-под шапочки, густые брови, густые усы, густая эспаньолка – все это, седое и разбросанное по смуглому морщинистому лицу курато, походило на усыпанные снегом кустики, торчащие из расщелины скалы и озаренные лунным светом.

– А! – приветствовал он Тонио, снимая очки и закладывая ими книжонку.

– Вы, пожалуй, скажете, синьор курато, что я пришел не вовремя, – сказал Тонио с поклоном, который вслед за ним довольно неуклюже повторил Жервазо.

– Разумеется, поздно – во всех отношениях поздно! Вы же знаете, что я болен?

– О, мне очень жаль!

– Наверное, вы слышали об этом. Я болен и не знаю, когда смогу снова показаться на людях... Но зачем же вы привели с собой этого... этого парнишку?

– Да так, за компанию, синьор курато.

– Ну что ж. Посмотрим!

– Тут двадцать пять новых берлинг, тех самых, со святым Амброджо на коне, – сказал Тонио, вынимая из кармана сверточек.

– Посмотрим, – повторил дон Абондио.

И, взяв сверток, он снова надел очки, развернул его, высыпал берлинги, пересчитал и повертел их во все стороны, но не нашел ни малейшего изъяна.

– Теперь, синьор курато, верните мне ожерелье моей Теклы.

– Правильно, – ответил дон Абондио.

Он подошел к шкафу, вынул из кармана ключ и, оглядевшись кругом, словно желая удержать всяких непрошенных зрителей подальше, слегка приоткрыл дверцу, заполнил отверстие своей особой, засунул внутрь голову, чтобы разглядеть ожерелье, и руку, чтобы взять его, взял и, заперев шкаф, вручил ожерелье Тонио со словами: «Все в порядке?»

– Теперь, – сказал Тонио, – будьте добры, пропишите черным по белому...

– Это еще к чему? – сказал дон Абондио. – Ведь все же и без того знают. Ох! Какие люди стали подозрительные! Вы что же, не верите мне?

– Как можно, синьор курато! Неужто я не верю? Вы меня обижаете! Но ведь поскольку мое имя у вас записано в книжечке, на стороне дебета, если вы уж потрудились записать один раз, так, знаете, ведь никто не волен в животе и в смерти...

– Ну ладно, ладно! – прервал его дон Абондио и, с ворчанием выдвинув из столика ящичек, вынул оттуда бумагу, перо и чернильницу и принялся писать, повторяя вслух слова, по мере того как они выходили из-под пера.

Тем временем Тонио, а по его знаку и Жервазо расположились перед столиком так, чтобы заслонить от пишущего входную дверь, и, как бы от нечего делать, начали шаркать ногами по полу, чтобы дать знать ожидавшим за дверью, что пора входить, а вместе с тем заглушить и шум их шагов. Дон Абондио, погруженный в свое писание, ничего не замечал.

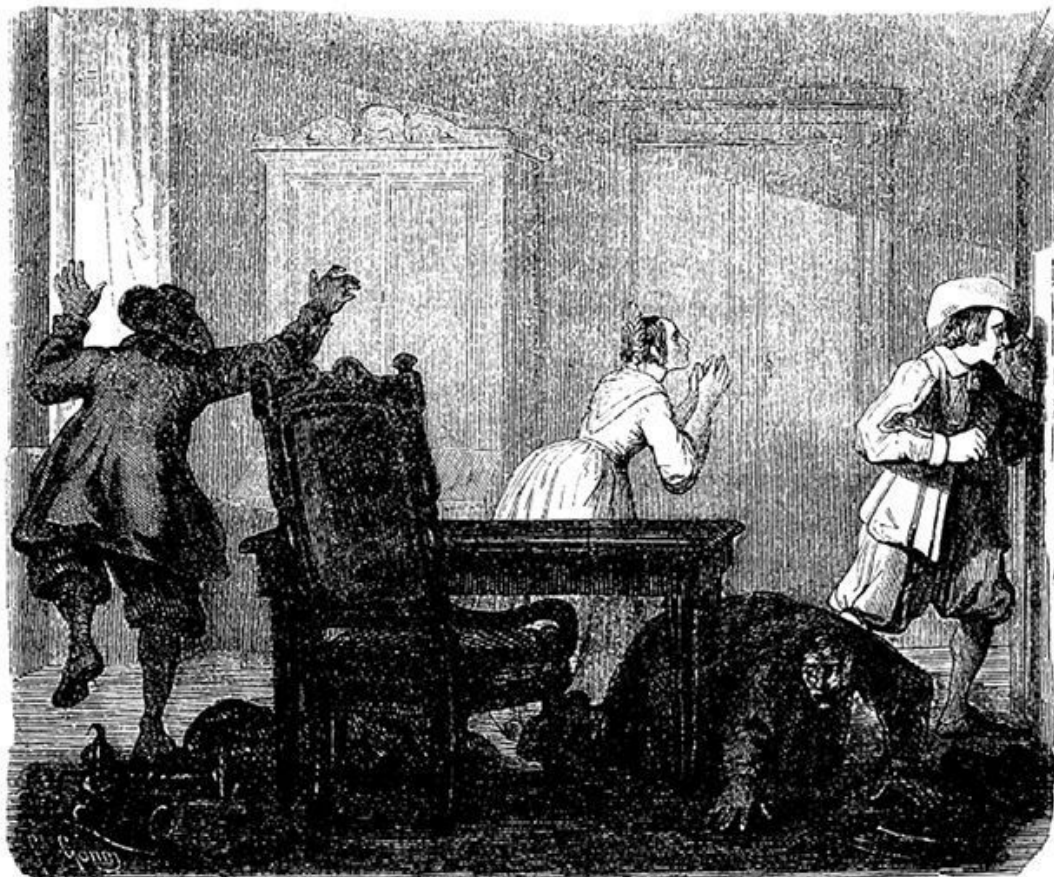
Когда зашаркали в четыре ноги, Ренцо взял Лючию за руку, ободряюще пожимая ее, и двинулся, увлекая за собой невесту, которая вся дрожала и была не в силах сойти с места. Они вошли тихо-тихо, на цыпочках, сдерживая дыхание, и спрятались за спиной братьев. Тем временем дон Абондио, окончив писать, стал внимательно перечитывать написанное, не отрывая глаз от бумаги. Затем он сложил ее вчетверо и со словами: «Теперь вы будете довольны?» – снимая очки с носа одной рукой, другой протянул бумагу Тонио, подняв на него глаза. Тонио, протягивая руку за бумагой, отступил в сторону, Жервазо, по его знаку, – в другую, и между

ними, словно при раздвинувшемся занавесе, появились Ренцо и Лючия. Дон Абондио сначала неясно, а потом отчетливо увидел все, испугался, онемел, пришел в бешенство, сообразил, что к чему, принял решение – и все это за время, которое потребовалось Ренцо для произнесения слов: «Синьор кура-то, в присутствии этих свидетелей заявляю: она моя жена». Еще не успели сомкнуться его уста, как дон Абондио, бросив бумагу, схватил левой рукой светильник, а правой стащил со столика ковровую скатерть и, прижав ее к себе, уронив впопыхах наземь книгу, бумагу, чернильницу и песочницу, пробрался между креслом и столиком, приблизившись к Лючии. Бедняжка своим милым и в ту пору дрожащим голоском едва успела вымолвить: «А это...», как дон Абондио грубо набросил ей скатерть на голову, закрыв лицо, чтобы помешать произнести до конца всю формулу. И тут же, бросив светильник, который он держал в другой руке, обеими руками так закутал Лючию в ковер, что она чуть не задохнулась. При этом он принялся кричать во все горло: «Перпетуя! Перпетуя! Измена! Помогите!» Светильник, угасавший на полу, слабым мигающим светом освещал Лючию, которая, совершенно растерявшись, не пыталась даже выпутаться из ковра и могла сойти за изваяние, вылепленное из глины, на которое мастер набросил сырую ткань. Когда свет совсем погас, дон Абондио бросил бедняжку и принялся ощупью искать дверь в другую, внутреннюю комнату; обнаружив ее, он вошел туда и заперся, не переставая кричать: «Перпетуя! Измена! Помогите! Вон из моего дома, вон!»

В соседней комнате царило полнейшее смятение. Ренцо пытался поймать синьора курато и разводил руками, словно играя в жмурки. Добравшись до двери, он начал стучать в нее, громко выкрикивая: «Откройте, откройте же, не поднимайте шума!» Прерывающимся голосом Лючия старалась остановить Ренцо и умоляюще повторяла: «Уйдем, ради бога, уйдем!» Тонио на четвереньках шарил руками по полу, чтобы все-таки заполучить свою расписку. Жервазо, словно одержимый, орал и скакал, стараясь выбраться и удрать подобру-поздорову.

Среди этой суматохи нам приходится сделать минутную остановку для некоторых размышлений. Ренцо, скандаливший ночью в чужом доме, пробравшийся в этот дом украдкой и осадивший самого хозяина в одной из комнат, являлся как бы завзятым насильником, а между тем он, по сути дела, был обиженным. Дон Абондио, захваченный врасплох, обращенный в бегство и доведенный до ужаса в тот самый момент, когда он мирно предавался своим занятиям, как будто являл из себя жертву – между тем, в сущности, именно он-то и был обидчиком. Так часто бывает на этом свете, – я хочу сказать, так бывало в семнадцатом веке.





Не видя признаков отступления врага, осажденный отворил окно, выходящее на церковную площадь, и принялся кричать: «Помогите! Помогите!» Луна светила вовсю. Тень от церкви, а за ней длинная, остроконечная тень колокольни лежали резким черным пятном на заросшей травой ярко озаренной площади: любой предмет был четко виден, почти как днем. Но куда ни кинешь взгляд, нигде ни малейшего признака живого существа. Однако к боковой стене церкви, как раз со стороны, обращенной к приходскому дому, примыкало небольшое жильё, каморка, где спал пономарь. Разбуженный неистовым криком, он очнулся от сна, поспешно слез с кровати, открыл створку своего оконца, высунул наружу голову и, не успев еще продрать глаза, произнес:

– Что случилось?

– Скорей, Амброджо, на помощь! Люди забрались в дом! – закричал ему дон Абондио.

– Сейчас, – ответил пономарь, пряча голову.

Он затворил окно и, полусонный, здорово перепуганный, тут же нашел способ помочь беде – в большей даже степени, чем его о том просили, не принимая, однако, участия в свалке, какая она там ни будь. Схватив штаны, лежавшие у него на постели, и сунув их под мышку, словно парадную шляпу, он вприпрыжку спустился по деревянной лестнице, подбежал к колокольне, схватился за веревку большего из двух колоколов и ударил в набат.

Дон-дон-дон-дон! Крестьяне с перепугу крестятся, спросонья не спускают ног с кровати; парни, развалившиеся на сеновале, прислушиваются, поднимаются. «Что такое? Набат? Пожар? Воры? Разбойники?» Иные жены увещевают своих мужей, умоляя их не трогаться с места, – пусть идут себе другие. И все же некоторые встают, подходят к окну: трусы делают вид, что сдаются на уговоры жен, и возвращаются; кто полюбопытнее и похрабрее, идет вниз за вилами и мотыгами и устремляется на шум; третьи только глазекот.

Но прежде, чем одни оказались на месте происшествия, прежде даже, чем другие успели вскочить на ноги, шум долетел до слуха тех, кто был неподалеку, на ногах и одет. То были брави – с одной стороны, Аньезе и Перпетуя – с другой. Сначала вкратце расскажем про первых, о том, что они делали с той минуты, как мы их покинули в остерии. Эти трое, заметив, что все двери заперты и улица опустела, поспешно вышли из остерии, словно вдруг сообразив, что засиделись слишком поздно, и заявив, что торопятся домой; они обошли всю деревню, дабы окончательно убедиться, что все угомонились; и действительно, они не встретили ни живой души, не услышали ни малейшего шороха. Прошли они со всяческими предосторожностями и мимо нашего бедного домика, где царила полнейшая тишина, – ведь в нем уже никого не было. Тогда они, не мешкая, отправились в хижину и доложили обо всем синьору Гризо. Он тут же надел на голову большую старую шляпу, набросил на плечи вошенный полотняный плащ пилигрима, обвешанный ракушками, взял в руки страннический посох и, сказав: «Пошли, смелей! Смирно, смотрите вы, слушать мои приказания!» – первым тронулся в путь, остальные за ним.

Мигом добрались они до домика улицей, противоположной той, по которой ушла наша небольшая компания, тоже отправившаяся в свою экспедицию. На расстоянии нескольких шагов Гризо остановил свою шайку и пошел на разведку один. Видя, что снаружи безлюдно и спокойно, он подозвал двоих из своей своры, приказал им потихоньку перелезть через стену, окружавшую дворик, и, спустившись внутрь, спрятаться в углу за густым фиговым деревом, которое он заметил еще утром. После этого он тихонько постучался, намереваясь притвориться заблудившимся странником и попросить приюта до наступления дня. Никто не отвечал. Он постучал немного сильнее – полная тишина. Тогда он кликнул третьего разбойника и велел ему, по примеру двух других, спуститься во дворик и потихоньку снять засов, чтобы обеспечить себе свободный вход и выход. Все это было выполнено с большой осторожностью и прошло благополучно. Затем, позвав остальных, он вошел вместе с ними во двор, велел им спрятаться рядом с первыми, бесшумно приблизился к выходу на улицу и поставил там двух караульных с внутренней стороны, после чего крадучись подошел ко входу в нижний этаж. Здесь он снова постучался – жди не жди, толку мало! Тогда он потихоньку открыл дверь. Изнутри никто не спросил: «Кто там?» Никого не было слышно, – словом, все шло как нельзя лучше. Стало быть – вперед. «Пст!» – подозвал он стоявших у фигового дерева и вошел с ними в комнату нижнего этажа, где поутру он коварно выпросил кусок хлеба. Вынув трут, кремь, огниво и серные спички, он зажег свой маленький фонарик и вошел в следующую, самую дальнюю комнату, чтобы убедиться, что там никого нет, – в самом деле никого! Гризо вернулся назад, подошел к лестнице и, вглядываясь в темноту, стал прислушиваться: безлюдье и молчание. Он поставил еще двух караульных в нижнем этаже и взял с собой Гриньяпоко. Это был браво из Бергамского края – ему одному было поручено угрожать, унимать, приказывать, вообще вести все разговоры, для того чтобы Аньезе могла по его слову подумать, что весь заговор затеян именно в Бергамо. Они двигались бок о бок, остальные шли сзади. Гризо тихо поднимается вверх, проклиная в душе каждую заскрипевшую ступеньку, каждый шаг этих проходивцев, производивших шум. Вот уже он наверху. Здесь залег заяц! Он легонько толкает дверь, ведущую в первую комнату; дверь подается, образуя щель, он заглядывает в нее: темно; он прислушивается, не храпит ли кто, не вздыхает ли, не копошится ли внутри: все тихо. Стало быть, можно вперед! Подняв фонарь к лицу, направляя свет вперед, чтобы видеть, оставаясь в тени, он распахнул дверь; пред ним кровать, он к ней; постель накрыта и взбита, покрывало наброшено на изголовье. Гризо пожал плечами, повернулся к товарищам, давая им понять, что идет в другую комнату и они должны следовать за ним; войдя в следующую комнату, он видит там то же самое. «Что за чертовщина! – вскрикнул он. – Уж не выдал ли нас какой-нибудь пес-изменник?» Остальные, уже с меньшей осторожностью, принялись шарить по всем углам, переворачивая все вверх дном. Пока разбойники были заняты, те двое, что кара-

улили у выхода на улицу, слышали частые, быстро приближающиеся шаги; кто бы то ни был, решили они, он непременно пройдет мимо, и, притихнув, брави на всякий случай насторожились. Действительно, шаги затихли как раз у входа. То был Менико, стремглав спешивший по поручению падре Кристофоро предупредить обеих женщин, чтобы они, ради самого Неба, немедленно ушли из своего дома и укрылись в монастыре, потому что... ну, почему, это уж вам известно, читатель! Менико взялся за скобу засова, собираясь постучать, и почувствовал, что он болтается у него в руке, что он выдернут и снят. «Что за оказия?» – подумал он и в страхе толкнул дверь – она сразу открылась. Менико с величайшей осторожностью переступает порог и вдруг чувствует, как его хватают за руки, и слышит, как два тихих, полных угрозы голоса проносят с обеих сторон: «Молчи, не то уьем!» Он испустил страшный крик, но один из разбойников закрыл ему рот рукой, а другой вытащил огромный нож, чтобы припугнуть его. Мальчишка затрясся как осиновый лист и уж не пытался кричать, ибо в то же мгновение тишину прорезал громкий удар набатного колокола, а потом, один за другим, полился целый поток ударов. «На воре шапка горит», – говорит пословица; каждому из двух пройдох в этом звоне почудилось его собственное имя и прозвище; они отпустили Менико и, разинув рты, развели руками, глядя друг на друга, а затем бросились в дом, где находилась большая часть шайки. Менико – прочь без оглядки, прямо к колокольне, где уж наверняка кто-нибудь да был. На других пройдох, обшаривавших дом, страшный набат произвел такое же впечатление. Насторожившись и придя в замешательство, они бросились к выходу, ища кратчайший путь, натываясь друг на друга. Между тем все это был народ испытанный и ко всему привычный, но и они не смогли устоять перед неведомой опасностью, к тому же совершенно непредвиденной и свалившейся на них как снег на голову. Потребовалось все самообладание Гризо, чтобы удержать всех вместе и не дать отступлению превратиться в паническое бегство. Подобно тому как пес, сопровождающий свиней, подбегает то с той, то с другой стороны к отбивающимся от стада, одну ухватит зубами за ухо и втянет обратно, другую толкнет мордой, полагает на третью, которая как раз в этот момент выбегает из рядов, – так и тут наш странник схватил за волосы одного из тех, кто уже был на пороге, и втащил его обратно; посохом загнал назад сунувшихся туда же; обругал других, метавшихся взад и вперед, не зная, куда броситься. В конце концов он согнал всех на середину двора.



– Живо! Пистолеты в руки! Ножи наготове, держаться вместе и марш за мной! Дуры вы головы, кто же посмеет нас тронуть, если мы будем держаться вместе? А если дадим перехватать себя поодиночке, тогда всякий мужик с нами справится. Стыдитесь! За мной, эй вы, дружно!

Вслед за этим кратким обращением он стал во главе шайки и вышел первым. Дом, как мы уже говорили, стоял на краю деревни. Гризо пошел по улице, ведущей в поле, и все последовали за ним в полном порядке.

Оставим их идти и вернемся немного назад – займемся Аньезе и Перпетуей, которых мы оставили на тропинке. Аньезе старалась насколько возможно подальше увести свою приятельницу от дома дона Абондио, и до известного момента дело шло отлично. Но вдруг служанка вспомнила, что дверь не заперта, и захотела вернуться обратно. Возражать было нечего; чтобы не вызывать лишних подозрений, Аньезе пришлось повернуть вслед за Перпетуей и пойти за ней, стараясь, однако, задерживать ее всякий раз, когда замечала, что та приходила в экстаз, повествуя о вылетевших в трубу брачных проектах. Аньезе приняла вид усердной слушательницы и время от времени, желая показать, что следит за рассказом, или чтобы оживить болтовню, произносила: «Так, так... теперь я все понимаю... превосходно... ясное дело. А потом? А он что? А вы?» Тем временем про себя Аньезе думала совсем другое: «Ушли они или все еще там? Какого дурака сваяли мы все трое, не условившись, чтобы они подали какой-нибудь сигнал, когда дело благополучно закончится. Большая глупость, но теперь уж ничего не поде-

лаешь. Как бы только изловчиться и, насколько возможно, задержать ее еще, ну в крайнем случае придется с ней еще поваландаться».

Так, шаг за шагом, то продвигаясь вперед, то останавливаясь, приблизились они к жилью донна Абондио, но дома еще не было видно за поворотом. Подойдя как раз к важному моменту своего рассказа, Перпетуя дала себя остановить, не оказывая сопротивления и даже не заметив этого, как вдруг неподвижный воздух среди безмолвия ночи прорезал отчаянный крик донна Абондио, доносившийся откуда-то сверху: «Помогите, помогите!»

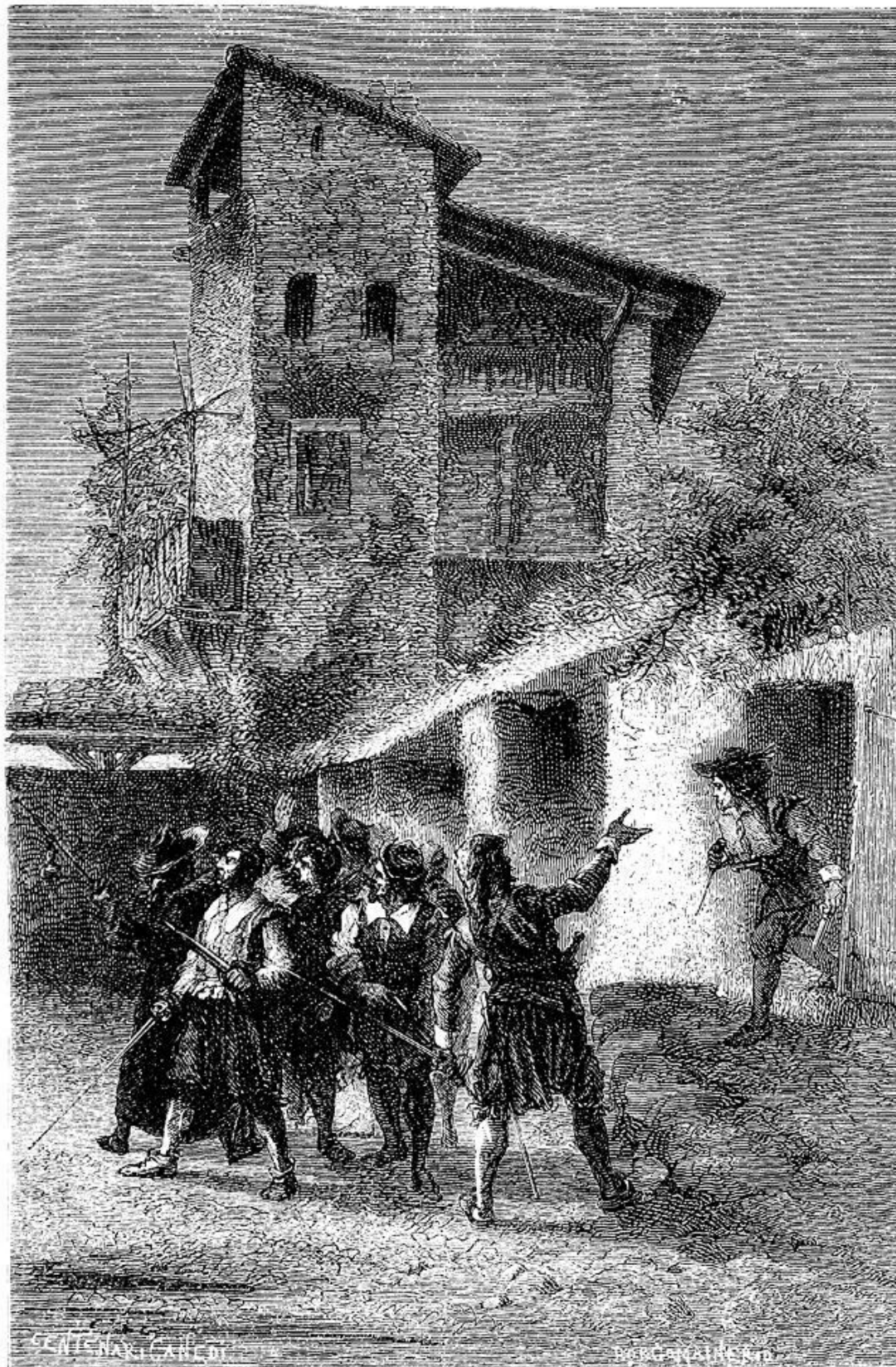
– Господи помилуй! Что случилось? – вскрикнула Перпетуя и бросилась было бежать.

– Что, что такое? – закричала Аньезе, хватая ее за юбку.

– Господи помилуй! Вы разве не слышали? – отвечала та, стараясь вырваться.

– Что такое? Что случилось? – повторила Аньезе, удерживая ее за руку.

– Подите вы ко всем чертям! – крикнула Перпетуя, отталкивая Аньезе и вырываясь, а затем пустилась бежать.



В это время донесся отдаленный, еще более пронзительный и неожиданный, страшный крик Менико.

– Господи помилуй! – закричала теперь и Аньезе и помчалась за Перпетуей.

Но не успели, так сказать, сверкнуть их пятки, как вдруг раздался набатный колокол – раз, два, три и дальше, удар за ударом. Эти удары могли бы пришпорить их, будь в том надобность! Перпетуя прибыла на место минутой раньше и бросилась отворять дверь, но дверь сама распахнулась, и на пороге показались Тонио, Жервазо, Ренцо и Лючия, которые, отыскав лестницу, вприпрыжку спускались по ней, а услышав страшный набатный звон, бросились искать спасения в поспешном бегстве.

– Что такое? Что такое? – задыхаясь, спросила Перпетуя братьев, но те ответили ей лишь грубым толчком и удрали. – И вы! Как? Вы что тут делаете? – спросила она затем нашу парочку, узнавая ее.

Однако и они удалились, не дав ответа. Перпетуя, спешившая на помощь туда, где в ней нуждались всего больше, не стала терять времени, быстро вошла в переднюю и, как могла, на ощупь, бросилась к лестнице.

Жених с невестой, так и оставшиеся лишь обрученными, столкнулись лицом к лицу с Аньезе, прибежавшей впопыхах.

– А, вы здесь! – сказала она, с трудом произнося слова. – Как же прошло дело? Что это за звон? Я никак слышала...

– Домой, скорей домой, – проговорил Ренцо, – домой, пока не собрался народ.

И они пустились было наутек. Но тут прибежал Менико и, узнав их, весь дрожа, проговорил охрипшим голосом:

– Куда вы? Назад, назад! Идите туда, в монастырь!

– Так это ты?.. – начала было Аньезе.

– Это что еще такое? – спросил Ренцо.

Лючия, совершенно растерявшись, молча вздрагивала.

– Сам дьявол в доме, – задыхаясь, продолжал Менико. – Я видел их, они хотели убить меня. Падре Кристофоро сказал, – да, и вы, Ренцо, – он сказал, чтобы вы тоже приходили сейчас же, и потом – я же их видел воочию, по счастью, я нашел всех вас здесь. Я расскажу вам все потом, когда выберемся отсюда.

Ренцо, растерявшийся меньше других, подумал, что, так или иначе, надо уходить как можно скорее, прежде чем соберется народ, и что всего надежнее было бы поступить по совету или, лучше сказать, по настоянию насмерть перепуганного Менико. А по дороге, избежав опасности, можно будет потребовать у мальчика более толкового объяснения.

– Ступай вперед, – сказал он Менико. – Мы пойдем с ним, – обратился он к женщинам.

Они быстро повернули по направлению к церкви, пересекли площадь, где по милости неба еще не было ни одной живой души, вошли в улочку, пролежавшую между церковью и домом дона Абондио, пролезли в первую попавшуюся им в изгороди дыру и бросились в поле.

Не успели они пройти, пожалуй, и полсотни шагов, как на площадь стала стекаться толпа, с каждой минутой возрастающая. Люди глядели друг на друга, у каждого на языке вертелся вопрос, ни у кого не было ответа. Прибежавшие первыми бросились к церковной двери – она была на запоре. Тогда они побежали к колокольне, и один из них, приставив рот к небольшому окошку вроде бойницы, крикнул внутрь: «Кой черт там звонит?» Услышав знакомый голос, Амброджо бросил веревку и, поняв по гомону, что народу сбежалось много, ответил: «Я сейчас отопру». Наспех надев принесенную с собой под мышкой амуницию, он прошел изнутри к церковной двери и отпер ее.

– Что значит весь этот шум? Что случилось? Где? Кто?

– Как это где? – сказал Амброджо, придерживая одной рукой дверь, а другой ту самую амуницию, которую он наспех напялил. – Как! Вы не знаете? У синьора курато в доме разбойники. Смелей, ребята, на помощь!

Все устремились к дому курато и, подойдя к нему толпой, стали, прислушиваясь, смотреть вверх; в доме стояла полная тишина. Некоторые забежали со стороны двери – она была

заперта, и не было заметно, чтобы кто-нибудь к ней прикасался. Тогда, в свою очередь, поглядели наверх – ни одного открытого окна, ни малейшего шороха.

– Есть там кто внутри? Эй, синьор курато! Синьор курато!

Дон Абондио, который, едва лишь заметил бегство незваных гостей, отошел от окна, запер его и в данную минуту шепотом пререкался с Перпетуей, бросившей его одного в таком затруднительном положении, должен был, по требованию собравшегося народа, снова появиться у окна. Увидав столь огромное подкрепление, он раскаялся в том, что вызвал его.

– Что тут было? Что с вами сделали? Кто они такие? Где они? – кричали ему разом пятьдесят голосов.

– Никого уже больше нет. Спасибо вам, расходитесь по домам.

– Но кто же это был? Куда они ушли? Что случилось?

– Дурные люди, что шляются по ночам, но они уже разбежались. Ступайте домой; никого больше нет; еще раз, дети мои, спасибо вам за доброе ваше отношение. – С этими словами он скрылся, затворив окно.

Тут одни принялись ворчать, другие – напевать, третьи – ругаться. Некоторые пожимали плечами и уходили. Вдруг появился новый человек; совсем запыхавшись, он с трудом выговаривал слова. Человек этот жил почти напротив дома Аньезе. Когда начался шум, он выглянул из окна и увидел происходивший во двореке переполох среди брави, которых Гризо старался успокоить. Переведя дух, он крикнул в толпу:

– Что вы тут делаете, ребята? Дьявол не тут, а в конце улицы. Внизу, в доме Аньезе Монделлы, какие-то вооруженные люди, они там, в доме; никак собираются убить какого-то странника. Кто знает, что там за дьявольщина!

– Что? Что такое? – началось беспорядочное совещание. – Надо идти. Надо посмотреть. Сколько их? А нас сколько? Кто они? Консула сюда, консула!

– Я здесь, – отозвался консул из середины толпы, – я здесь, но вы должны мне помочь и слушаться беспрекословно. Живо! Где пономарь? Звони всюю! Быстро! Бегите кто-нибудь за помощью в Лекко! Идите все сюда...

Кто приблизился, а кто за спиной у других и удрал. Шум стоял страшный, как вдруг появился новый свидетель, видевший собственными глазами, как незнакомцы поспешно удирали, и завопил:

– Спешите, ребята! Воры либо разбойники убегают с каким-то странником; они теперь уже за деревней. Держи их!

В ответ на это сообщение вся толпа, не дожидаясь приказаний начальства, пришла в движение и врассыпную бросилась вниз по улице. По мере того как воинство подвигалось вперед, кое-кто из шедших первыми замедлял шаг, давая обогнать себя другим, и застревал в самой гуще боевой массы, задние проталкивались вперед, и наконец вся вереница в беспорядке достигла места назначения.

Свежие следы нашествия были налицо: дверь настежь, засов снят, но самих разбойников и след простыл. Вошли во дворик, подошли к двери нижнего этажа – она тоже оказалась отпертой и сорванной. Стали звать: «Аньезе! Лючия! Странник! Где странник? Знать, Стефано видел его во сне, странника-то!» – «Да нет же, нет. Карландреа тоже видела его. Эй, странник! Аньезе! Лючия!» Ответа нет. «Они утащили их с собой, утащили с собой». Нашлись такие, что громогласно стали требовать преследования похитителей: ведь это неслыханная гнусность и было бы позором для всей деревни, если бы любой негодяй мог безнаказанно заявляться и таскать женщин, словно коршун цыплят с покинутого гумна. Новое и более шумное совещание; вдруг кто-то (потом так и не удалось узнать, кто же это был) пустил слух, что Аньезе и Лючия укрылись в одном доме. Слух быстро распространился, ему поверили: о преследовании беглецов сразу перестали говорить, толпа рассыпалась и все разошлись по домам. Поднялось шушуканье, шум, стучали в двери, отворяли, появлялись и исчезали огоньки, женщины,

высунувшись из окон, задавали вопросы, им отвечали снаружи. Когда же улица опустела и все затихло, разговоры продолжались по домам, перемежаясь с зевотой, с тем чтобы поутру возобновиться.

Новых событий, впрочем, не произошло, если не считать того, что в это самое утро консул стоял у себя в поле, подперев подбородок рукой и опираясь локтем на рукоятку заступа, наполовину погруженного в землю, а ногою на самый заступ. Он стоял, обдумывая про себя тайны минувшей ночи и сложный вопрос о том, что ему надлежало сделать и как было выгоднее всего поступить. Вдруг он увидел, что навстречу ему идут два человека довольно вызывающего вида, длинноволосые, наподобие первых франкских королей, а в остальном чрезвычайно похожие на тех двух субъектов, что за пять дней до того пристали к дону Абондио, если только это не были те же самые. Они нагло потребовали от консула, чтобы он никоим образом не докладывал синьору подеста о происшедшем, а в случае, если его спросят, не говорил бы правды да чтобы не болтал зря сам и не поощрял болтовни крестьян, если только ему дорога надежда мирно скончаться в собственной постели.

Наши беглецы довольно долго шли молча, быстрым шагом, поочередно оборачиваясь назад, чтобы поглядеть, нет ли погони: все были удручены утомительным бегством, обеспокоены неизвестностью, в которой очутились, огорчены неудачей предприятия и полны смутным страхом перед новой, неопределенной опасностью. Это тревожное чувство усиливал непрерывно преследовавший их набатный звон, который по мере удаления долетал до них все слабее и приглушеннее, но зато, казалось, становился все печальнее и зловещее. Наконец он прекратился. Только тогда беглецы, находясь уже в безлюдном поле и не слыша вокруг ни малейшего шороха, замедлили шаг. Немного отдышавшись, Аньезе первая прервала молчание и принялась расспрашивать Ренцо, как было дело, а Менико – как случилось, что какой-то дьявол проник к ним в дом. Ренцо вкратце рассказал печальную историю, а затем все трое обратились к мальчику, который уже более обстоятельно передал предостережение падре Кристофоро и рассказал обо всем, что сам видел, и об опасности, какой он подвергся. Все это, увы, лишний раз подкрепляло предостережение падре. Слушатели поняли больше того, что сумел рассказать Менико: это открытие заставило их содрогнуться. Все трое сразу остановились, с ужасом глядя в глаза друг другу. И тут же, в единодушном порыве, все трое положили руку – кто на голову, кто на плечи мальчику, словно желая приласкать его и молча поблагодарить за то, что он явился их ангелом-спасителем. Выражая свое сочувствие по поводу пережитого им волнения и опасности, которой он подвергался ради их спасения, они почти готовы были просить у него за это прощения. «А теперь возвращайся домой, чтобы твои больше не тревожились за тебя», – сказала ему Аньезе и, вспомнив про обещанные две монетки, вынула из кармана целых четыре и отдала ему со словами: «Ну ладно, моли Бога, чтобы нам скорее увидеться снова, и тогда...» Ренцо дал Менико новенькую берлингу и долго внушал ему ничего никому не говорить о поручении падре Кристофоро; Лючия еще раз приласкала мальчика и простилась с ним взволнованным голосом. Растроганный Менико простился со всеми и повернул назад. А те пошли своей дорогой в глубоком раздумье – женщины впереди, Ренцо за ними, охраняя их путь. Лючия крепко держала мать под руку, мягко и осторожно отклоняя помощь, которую Ренцо предлагал ей в трудных местах этого путешествия, когда шли по проселкам: ей было стыдно, что она, пусть даже при исключительных обстоятельствах, так долго оставалась наедине с ним и допустила подобную близость, – правда, она надеялась вот-вот стать его женой. Теперь, когда ее мечты так горестно развеялись, Лючия раскаивалась в том, что зашла слишком далеко, и к многочисленным ее волнениям прибавилось теперь еще и чувство стыда, порожденного не печальным познанием зла, а стыда беспричинного, больше похожего на страх ребенка, который дрожит в потемках, сам не зная почему.



– А дом? – вдруг сказала Аньезе.

Но как ни важен был этот вопрос, никто ей не ответил, потому что никто не мог дать удовлетворительного ответа. Молчаливо продолжали они свой путь и немного спустя вышли наконец на небольшую площадь перед монастырской церковью.

Ренцо подошел к двери и тихонько толкнул ее. Дверь тут же подалась, и луна, прокравшись в отверстие, осветила бледное лицо и серебряную бороду падре Кристофоро, который стоял на пороге и ждал. Увидя всех троих, он произнес: «Слава Богу!» – и жестом пригласил пришедших войти. Рядом с ним стоял другой капуцин – то был послушник-пономарь, которого падре Кристофоро просьбами и убеждениями уговорил бодрствовать вместе с собой и, оставив входную дверь незапертой, быть настороже, с тем чтобы принять несчастных, которым угрожала страшная опасность. Только немалый авторитет падре Кристофоро и его репутация святого человека помогли добиться от послушника такой опасной и противной уставу уступчивости.

Когда они вошли, падре Кристофоро тихо притворил за ними дверь. Тут уж пономарь не мог сдержаться и, отозвав падре Кристофоро в сторону, зашептал ему на ухо: «Как же это так, падре! Ночью... в церкви... с женщинами запирается... как быть с уставом-то... падре?» И он покачал головой. В то время как он выдавливал из себя эти слова, падре Кристофоро думал: «Вот подите же: будь то преследуемый разбойник, фра Фацио не стал бы чинить ему ни малейших препятствий, а бедная невинная девушка, которой удалось вырваться из волчьих когтей...»

– *Omnia munda mundis*⁸, – произнес он, повернувшись вдруг к фра Фацио и забывая, что тот не понимает по-латыни.

Но эта забывчивость как раз и возымела нужное действие. Начни падре Кристофоро спорить, опираясь на доводы, фра Фацио, конечно, нашел бы другие, противоположные, и бог весть когда и как закончился бы этот спор. Услыхав же латинские слова, полные таинственного смысла и произнесенные с такой решительностью, он подумал, что в них-то и должно заключаться разрешение всех его сомнений. Он сразу успокоился и сказал:

– Ладно, вам это лучше знать!



– Можете быть уверены, – ответил падре и, подойдя при слабом свете горевшей пред алтарем лампы к беглецам, которые стояли в нерешительном ожидании, сказал им: – Дети мои, возблагодарите Всевышнего, который избавил вас от великой опасности. Быть может, как раз в эту минуту... – Тут он принялся разъяснять то, о чем намеками дал им знать через мальчугана-посланца; он и не подозревал, что они знали обо всем гораздо больше его самого, и считал, что Менико застал их дома, прежде чем разбойники успели туда проникнуть. Никто не стал разуберять его, промолчала даже Лючия, которая, однако, почувствовала тайное угрызение совести: «Такая скрытность пред таким человеком!» Но ведь то была ночь путаницы, уловок и всяких обманов.

– Теперь вы видите, дети мои, – продолжал он, – что оставаться в родной деревне вам небезопасно. Вы в ней родились и никому не причинили зла, но – такова воля Господня. Это испытание, дети мои. Переносите его терпеливо, уповая на Всевышнего, не питая злобы, и будьте уверены: придет время, когда вы будете довольны тем, что происходит сейчас. Я позаботился найти для вас приют на первые дни... Вскоре, надеюсь, вы сможете спокойно вернуться к себе домой: Господь поможет вам во всех ваших делах и сделает все вам на благо. Я же, разумеется, постараюсь оправдать милость, которую он оказывает мне, избрав меня орудием служения вам, его бедным и дорогим истерзаным созданиям. Вы, – продолжал он, обра-

⁸ Чистым все чисто (лат.).

тившись к двум женщинам, – можете остановиться в ***. Там вы будете в достаточной мере защищены от всякой опасности и в то же время не слишком далеко от своего дома. Разыщите наш монастырь, велите вызвать отца настоятеля и передайте ему вот это письмо – он будет для вас вторым падре Кристофоро. Ты, Ренцо, тоже должен избавиться и от чужой ярости, и от своей собственной. Снеси это письмо в наш монастырь в Милане, в тот, что у восточных ворот, к падре Бонавентуре из Лоди. Он заменит тебе отца, будет направлять тебя и подыщет тебе работу, пока ты не сможешь вернуться и спокойно жить здесь. Ступайте на берег озера к устью Бионе, что протекает в нескольких шагах от Пескаренико. Там вы найдете у причала лодку; кликните: «Барка!» Вас спросят: «Для кого?» Отвечайте: «Сан-Франческо». Лодка примет вас и переправит на другой берег, где вы найдете повозку, которая доставит вас прямо в ***.

Кто вздумал бы поинтересоваться, каким же образом падре Кристофоро так быстро получил в свое распоряжение эти средства перевозки по воде и по суше, тот обнаружил бы неосведомленность насчет того, как велик авторитет капуцина, который слывет в народе святым.

Оставалось позаботиться о присмотре за домами. Падре Кристофоро принял ключи и взялся передать их тем, кого укажут Ренцо и Аньезе. Последняя, вынимая из кармана свой ключ, тяжело вздохнула, вспомнив, что дом ее сейчас отперт, что в нем побывал сам дьявол и кто знает, есть ли там что беречь.

– Перед отбытием вашим, – сказал монах, – помолимся все вместе Господу, чтобы в этом странствии он всегда пребывал с вами и прежде всего дал бы вам силы и рвение желать того, что угодно ему самому. – С этими словами он опустил на колени среди церкви, остальные последовали его примеру.

После того как все некоторое время молча молились, падре Кристофоро тихо, но ясным голосом внятно произнес:

– Еще молимся за несчастного, который заставил нас пойти на этот шаг. Мы были бы недостойны милосердия Твоего, о Господи, если бы всем сердцем не просили этой милости и для него – ведь он так в ней нуждается! В страданиях наших у нас есть великое утешение, ибо мы находимся на пути, который указан нам Тобой, и когда мы придем к Тебе с нашими горестями, они зачтутся нам. Он же – враг Твой. О несчастный! Он тягается с Тобой! Помилуй его, Господи, умягчи сердце его, да станет он слугою Твоим. Воздай ему все блага, каких мы можем желать для самих себя.



Затем, поднявшись, он торопливо сказал:

– Теперь в путь, дети мои, нельзя терять ни минуты времени. Да хранит вас Бог, да будет спутником вашим ангел его, – ступайте.

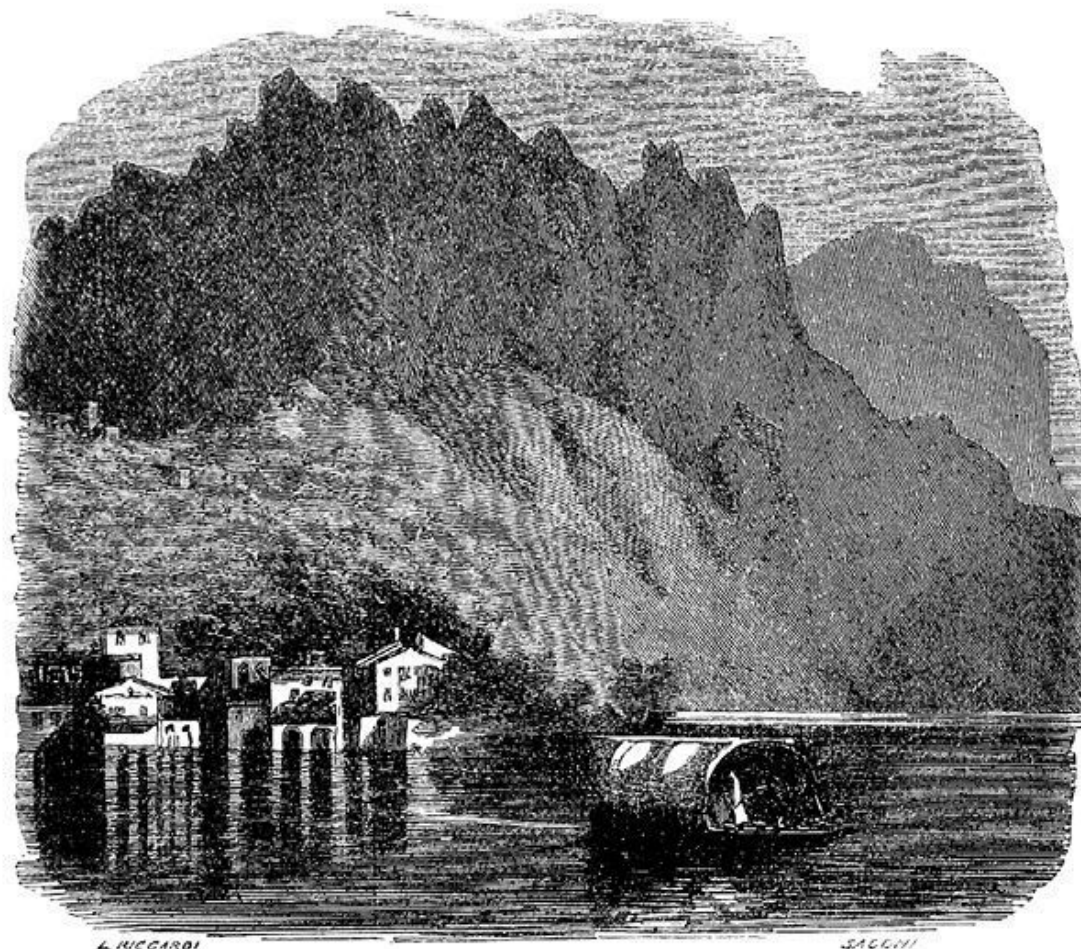
Когда же они уходили, в волнении, которое трудно передать словами, падре Кристофоро изменившимся голосом прибавил:

– Сердце подсказывает мне, что мы скоро увидимся. Конечно, сердце всегда говорит человеку, который к нему прислушивается, о том, что его ожидает. Да много ли знает сердце? Так, разве самую малость из того, что уже случилось.

Не дожидаясь ответа, фра Кристофоро пошел к ризнице. Путники вышли из церкви, и фра Фацио запер дверь, простившись с ними взволнованным голосом. В полном молчании направились они к указанному месту на берегу озера. Там они увидели лодку и, обменявшись паролем, уселись в нее. Лодочник, упершись веслом в берег, отчалил. Потом он взялся за второе весло и, гребя обеими руками, выплыл на простор, правя к противоположному берегу. Не было ни малейшего ветерка; озеро расстилалось гладкое и ровное, оно могло бы показаться неподвижным, если бы на нем не дрожал легкий и трепетный луч луны, глядевшей в воду с высоты небес. Слышался лишь ленивый и мерный шум прибоя, ударявшего о береговой гравий, отдаленное журчание воды, разбивавшейся об устои моста, да размеренный всплеск весел, которые, рассекая лазоревую поверхность озера, дружно поднимались из воды, разбрызгивая капли, и снова погружались в нее. Рассеченная лодкой волна, сливаясь снова за кормой, оставляла сзади полосу ряби, все больше и больше удаляющуюся от берега.

Молчаливые странники, обернувшись, смотрели на горы и местность, освещенную луной и кое-где покрытую густою тенью. Отчетливо выделялись деревни, дома, хижины. Палаццо дона Родриго со своей плоской башней, высившейся над домишками, теснившимися у подошвы горного выступа, казалось лютым злодеем, который, притаившись в темноте среди кучки спящих, бодрствовал, замысливая преступление. Лючия увидела его и вздрогнула. Взор ее скользнул вниз по склону, к месту, где лежала их деревенька; она взглядела в ее окраину, отыскивала свой домик, густую вершину фигового дерева, свешивающегося через стену двора,

окно своей комнаты и, как сидела в глубине лодки, облокотившись о борт и положив голову на руку, словно собираясь заснуть, так и всплакнула потихоньку.



Прощайте, горы, встающие из вод и подъятые к небесам; изрезанные вершины, знакомые тому, кто вырос среди вас, и запечатленные в его памяти не меньше, чем облик самых близких людей; ручьи, чье журчание ты различаешь как звук привычных родных голосов; деревни, разбросанные и белеющие по склонам, словно стада пасущихся овец, – прощайте! Как скорбен путь того, кто, выросши среди вас, покидает вас! Даже в воображении того, кто расстается с вами добровольно, влекомый жаждой разбогатеть на стороне, в минуту расставания самые мечты о богатстве теряют свою привлекательность, путник дивится своей решимости и готов повернуть назад, не будь у него надежды когда-нибудь вернуться богачом. Чем дальше продвигается он по равнине, тем чаще взор его, разочарованный и утомленный, отворачивается от этого однообразного простора, воздух кажется ему тяжелым и мертвым; грустный и рассеянный, вступает он в шумные города, где дома тянутся непрерывной цепью, улицы, вливающиеся одна в другую, словно затрудняют ему дыхание, и перед зданиями, которыми восхищается чужеземец, он с беспокойной тоской вспоминает о небольшом поле в родной деревушке, о скромном домике, который он давно уже приметил и собирается купить, когда вернется, разбогатеет, обратно в горы.

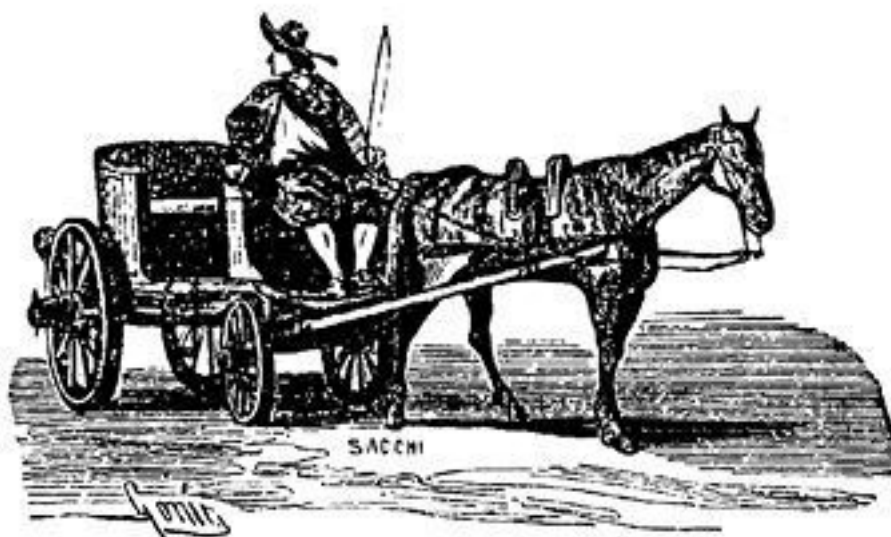
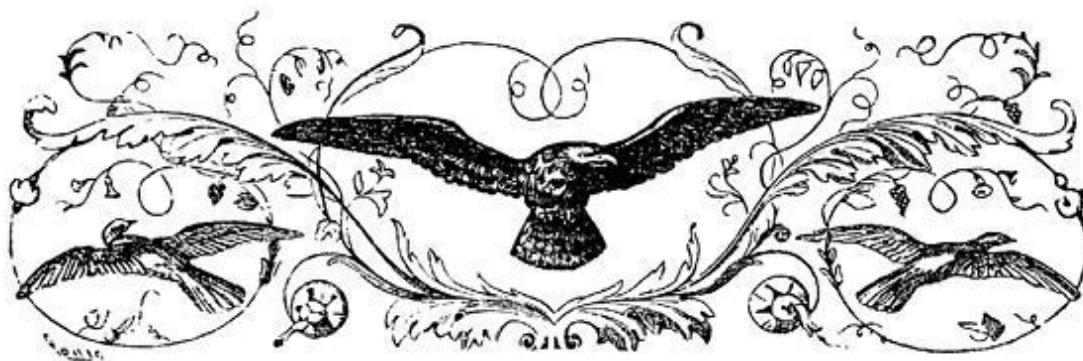
Так каково же той, что никогда не устремлялась за пределы родных гор ни одним, хотя бы мимолетным, желанием, которая связала с ними все надежды на будущее и которую враждебная сила внезапно отбросила далеко от родимых мест! Той, которую разом оторвали от самых дорогих ей привычек, чьи надежды разбились. Покидая родные горы, ей приходится уходить

к чужим людям, которых она знать не знает и от которых вернется неизвестно когда! Прощай, родной дом, где, бывало, сидя в одиноком раздумье, она с тайным трепетом училась в шуме людских шагов различать звук шагов желанных. Прощай, дом, пока еще чужой, на который так часто мимоходом поглядывала она украдкой, слегка краснея, дом, в котором рисовалась ей спокойная, мирная жизнь жены и хозяйки. Прощай, церковь, куда столько раз приходила она с ясной душой, вознося хвалу Творцу, где готовилось свершение священного обряда, где затаенный сердечный вздох должен был получить торжественное благословение, а узаконенная любовь – свое освящение. Прощай! Тот, кто дал вам столько радости, вездесущ, и если Он нарушает счастье детей своих, то лишь для того, чтобы дать им счастье еще более надежное и великое.

Такие или почти такие мысли теснились в голове Лючии, и мало чем разнились от них мысли двух других путников, в то время как лодка подвозила их к правому берегу Адды.



Глава девятая



Толчок лодки о берег встряхнул Лючию, которая, утерев украдкой слезы, подняла голову, делая вид, что проснулась. Ренцо высадился первым и подал руку Аньезе; та, выйдя, в свою очередь протянула руку дочери, и все трое с грустью поблагодарили перевозчика. «За что? – ответил он. – Мы для того и существуем на этом свете, чтобы помогать друг другу», и, содрогнувшись, словно ему предложили совершить кражу, отдернул руку, когда Ренцо попытался сунуть ему часть мелких денег, из тех, что он захватил в этот вечер с собой, намереваясь щедро вознаградить дона Абондио, если тот, хотя и против своей воли, сослужит ему службу. Повозка стояла тут же наготове, возница приветствовал тех, кого он поджидал, усадил их, прикрикнул на лошадь, ударил кнутом – и повозка тронулась.

Наш автор не описывает этого ночного путешествия, не упоминает он и названия того места, куда фра Кристофоро направил двух женщин; более того, он даже заявляет, что не желает говорить об этом. Из дальнейшего повествования выяснится причина этого умолчания. Судьба Лючии окажется вплетенной в темную интригу, затеянную одним лицом, принадлежавшим, по-видимому, к семье чрезвычайно могущественной в ту пору, когда писал автор. Чтобы объяснить странное поведение этого лица в нашем случае, автор должен будет даже вкратце рассказать его прошлую жизнь; и семья эта выступит в таких красках, которые разглядит всякий, кто прочтет дальнейшее. Но то, что бедняга из осторожности хотел утаить,

нам удалось найти в другом месте. Один миланский историк⁹, которому пришлось упомянуть о том же самом лице, правда, не называет ни его, ни места действия, но о последнем говорит, что это было старинное и славное местечко, которому не хватало лишь названия города; в другом месте он говорит, что там протекает Ламбро, наконец, что там есть архипастырь. Из сопоставления этих данных мы заключаем, что это не что иное, как Монца. В обширной сокровищнице ученых индукций найдутся, может быть, более тонкие, но вряд ли более достоверные. Мы могли бы также, опираясь на весьма обоснованные догадки, назвать и самую семью, но, хотя она окончательно вымерла, все же лучше оставить это имя ненаписанным, дабы не рисковать задеть даже мертвых и оставить ученым хоть какой-нибудь повод для изысканий.

Итак, наши странники прибыли в Монцу вскоре после восхода солнца. Возница вошел в остерию и, как знакомый с хозяином, распорядился отвести им комнату, куда и проводил их. Среди излишней благодарности Ренцо хотел было заставить и его принять какое-нибудь вознаграждение, но возница, как и лодочник, имея в виду иную награду, более отдаленную, но и более щедрую, тоже отдернул руку и, словно спасаясь бегством, поспешил к своей упряжке.

После вечера, который мы описали, и ночи, которую каждый может себе легко вообразить, проведенной в невеселых размышлениях, в непрестанном ожидании какого-нибудь неприятного происшествия, при дуновении осеннего холодного ветра и непрерывных толчках неудобной повозки, от которых просыпался каждый, кто чуть-чуть начинал смыкать глаза, – после всего этого им просто не верилось, что они сидят на устойчивой скамье, в какой ни на есть комнате. Путники позавтракали, как то позволяли тяжелые времена и скудные средства, которые необходимо было экономить ввиду неизвестного будущего, – да и есть-то никому не хотелось. Все трое невольно вспомнили про пир, который они собирались задать два дня назад, – и каждый тяжело вздохнул. Ренцо хотел было остаться с женщинами по крайней мере до конца дня: посмотреть, как они устроятся, оказать им необходимые услуги. Но падре посоветовал немедленно отправить юношу своей дорогой; поэтому женщины стали ссылаться на этот совет и высказывать при этом всякие другие соображения: что народ, мол, начинает болтать, что отсрочка сделает разлуку еще горестнее и что он ведь вскоре сможет вернуться и обменяться с ними новостями, так что в конце концов Ренцо решился удалиться. Они сговорились постараться увидеться как можно скорее. Лючия не скрывала слез; Ренцо сдерживался с трудом; крепко-крепко пожимая руку Аньезе, он сказал сдавленным голосом: «До свидания» – и ушел.

Женщины оказались бы в большом затруднении, если бы не добрый возница, которому дано было распоряжение проводить их в монастырь капуцинов и оказывать им всяческую помощь. Итак, наши путники отправились в монастырь, который, как всем известно, находится в нескольких шагах от Монцы. Когда они подошли к воротам, возница дернул колокольчик и велел позвать отца настоятеля. Тот явился немедленно и с порога принял письмо.

– А, фра Кристофоро! – сказал он, узнав почерк. Голос и выражение его лица говорили о том, что он произнес имя своего большого друга.

Следует сказать, что наш добрый падре Кристофоро в своем письме весьма горячо отзывался о женщинах и прочувствованно сообщал их историю, ибо настоятель, читая письмо, временами выражал изумление и негодование и, оторвавшись от бумаги, смотрел на женщин с состраданием и участием. Окончив чтение, он призадумался, а потом сказал: «Тут не обойтись без синьоры: если синьора возьмется за это дело...»

Затем, отозвав Аньезе в сторону, на площадку перед монастырем, он задал ей несколько вопросов, на которые та ответила утвердительно. Вернувшись к Лючии, он сказал им обеим:

– Я попытаюсь, милые сестры, найти вам убежище не только надежное, но и почетное, пока Бог не позаботится о вас наилучшим способом. Угодно вам идти со мной?

⁹ Джузеппе Ритамонти. Отечественная история. Дек. V. Кн. VI. Гл. III. С. 358.

Женщины почтительно изъявили свое согласие. Монах продолжал:

– Хорошо, я немедленно отведу вас в монастырь к синьоре. Однако вы следуйте за мной на некотором расстоянии – ведь народ любит позлословить, и бог знает какие поднимутся сплетни, если отца настоятеля увидят на улице с молодой красавицей... Я хочу сказать – вообще с женщинами.

С этими словами он пошел вперед. Лючия вспыхнула; возница улыбнулся, взглянув на Аньезе, которая не могла удержаться и тоже улыбнулась. Когда монах успел уйти немного вперед, все трое двинулись вслед за ним, держась на расстоянии десяти шагов. Тогда женщины спросили у возницы (расспрашивать отца настоятеля они не решились), кто такая эта синьора.

– Синьора, – отвечал он, – монахиня, но не такая, как все. Не то чтобы она была аббатисой или настоятельницей, наоборот, судя по тому, что говорят, она одна из самых молодых монахинь, но она – от Адамова ребра, и предки ее были люди большие, прибывшие из Испании, откуда родом все власти, – потому-то ее и зовут «синьорой». Этим хотят показать, что она – большая госпожа, и вся округа называет ее так, потому что, говорят, в этом монастыре никогда не видывали подобной особы; да и вся ее теперешняя родня там, в Милане, много значит – это люди, которые всегда во всем правы, а в Монцо и подавно: ее отец, хоть и не живет здесь, считается первым в округе, поэтому и она может делать в монастыре все, что ей угодно, да и за монастырскими стенами народ ее очень уважает, и уж если она за что берется, то добьется своего, а потому, если этому доброму монаху удастся препоручить вас ей и она вас примет, то, уж прямо могу вам сказать, вы будете как у Христа за пазухой.



Поравнявшись с воротами местечка, в те времена защищенными сбоку старинной башней, наполовину обвалившейся, и остатками какой-то крепостцы, тоже обрушившейся (может

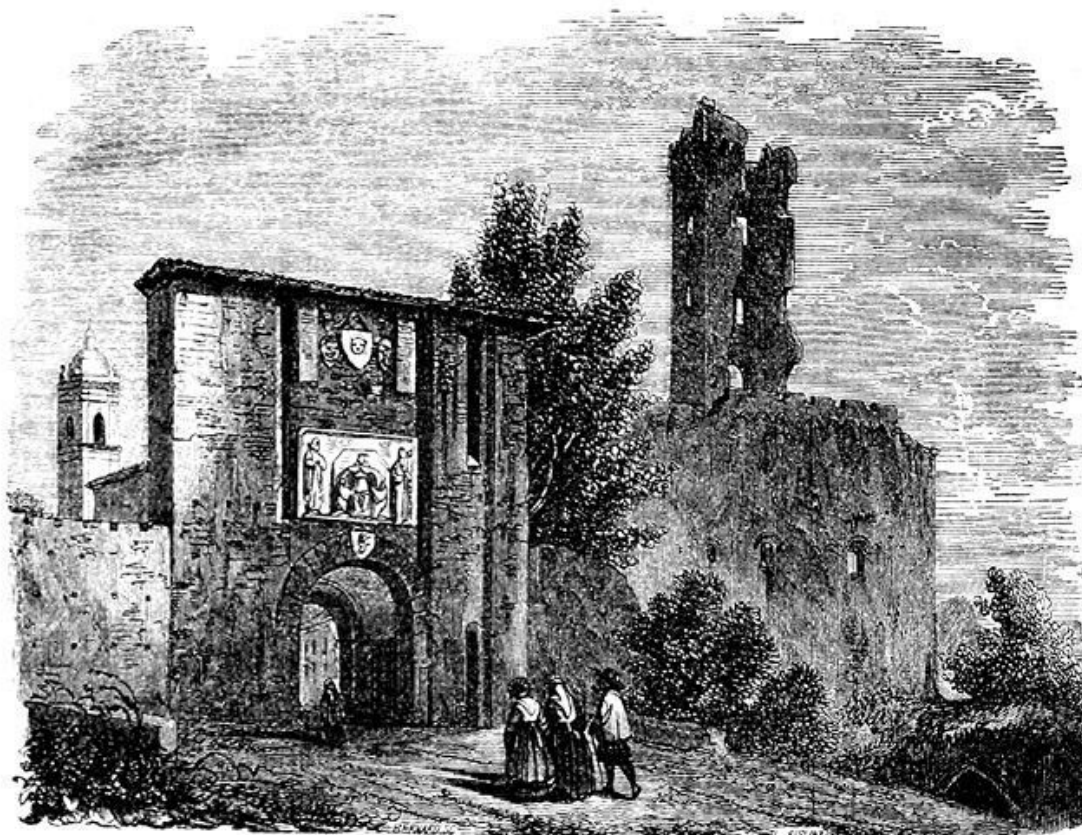
быть, некоторые из моих читателей припомнят, что видели все это еще в целости), настоятель остановился и обернулся, чтобы посмотреть, идут ли за ним остальные, затем он вошел в ворота и направился к монастырю, где снова остановился на пороге, поджидая небольшую компанию. Он попросил возницу часа через два-три вернуться за ответом; возница обещал и распростился с женщинами, которые засыпали его словами благодарности и поручениями к падре Кристофоро.

Настоятель пригласил мать с дочерью войти в первый дворик монастыря, ввел их в келью привратницы, а сам отправился хлопотать по делу. Спустя некоторое время он вернулся радостный и велел им следовать за собой. Появился он весьма кстати, ибо дочь и мать уж и не знали, как отделаться от назойливых расспросов привратницы. Пока они проходили вторым двориком, монах напутствовал женщин, давая им указания, как надо вести себя с синьорой.

– Она весьма расположена к вам, – сказал он, – и, если захочет, может сделать вам много добра. Будьте смиренны и почтительны, отвечайте откровенно на все вопросы, какие ей будет угодно задать вам. Ну а если вас спрашивать не будут, положитесь во всем на меня.

Они очутились в комнате нижнего этажа, откуда был вход в приемную. Прежде чем войти туда, настоятель, указав на дверь, сказал вполголоса женщинам: «Она здесь», как бы еще раз напоминая о своих наставлениях.

Лючия, никогда не бывавшая в монастыре, попав в приемную, стала оглядываться, ища глазами синьору, чтобы поклониться ей, и, не найдя никого, стояла как завороченная. Но, заметив, что монах и Аньезе направились в угол, она посмотрела туда же и увидела необычной формы окно с двумя толстыми и частыми железными решетками на расстоянии пяди друг от друга, а за решетками – монахиню.



По лицу ей можно было дать лет двадцать пять, и на первый взгляд оно казалось красивым, однако это была поблекшая, отцветшая красота, и, я бы сказал, носившая следы разрушения. Из-под черного покрывала, наброшенного на голову и ниспадавшего по обе стороны лица, виднелась белоснежная полотняная повязка, до половины прикрывавшая лоб такой же белизны; другая повязка, падавшая складками, обрамляя лицо, переходила под подбородком в белый плат, спускавшийся на грудь и прикрывавший весь ворот черного монашеского одеяния. На чело монахини часто набегали морщины, как бы от мучительной боли, и тогда черные брови сурово сдвигались. Глаза, тоже черные, то впивались в лицо людей с какой-то высокомерной пытливостью, то поспешно вперялись в землю, словно желая укрыться. В иные минуты внимательный наблюдатель нашел бы, что глаза эти искали любви, сочувствия, сострадания; в другой же раз он, пожалуй, подметил бы в них мгновенное выражение давней, но подавляемой ненависти, что-то угрожающее и жестокое. Когда глаза синьоры были неподвижно устремлены вдаль, одни могли увидеть в этом гордое отсутствие всяких желаний, другие – биение затаенной мысли или какую-то внутреннюю тревогу, снедавшую эту душу и владевшую ею сильнее всего на свете. Необыкновенно бледное лицо ее имело тонкие и изящные очертания, заметно пострадавшие, однако, от медленного изнурения. Губы, едва розовеющие, все же резко выделялись на этом бледном фоне – движения их, как и движения глаз, были внезапны, живы, полны выражения и таинственности. Крупная, хорошо сложенная фигура проигрывала от известной небрежности в осанке либо казалась иногда нескладной от порывистых, угловатых движений, слишком решительных для женщины, не говоря уже о монахине. В самом одеянии кое-где сказывалась какая-то изысканность и прихотливость, говорившие о своеобразии этой монахини: лиф был отделан с каким-то светским изяществом, а из-под повязки на висок спускалась прядь черных волос – обстоятельство, свидетельствовавшее о забвении устава или пренебрежении к нему, ибо правила предписывали всегда носить волосы короткими, как они были обрезаны при торжественном обряде пострига.

Однако все это не произвело впечатления на женщин, не искушенных в монастырских порядках, а настоятель, видевший синьору не в первый раз, подобно многим другим, уже успел привыкнуть к странностям, которые замечались во всей особе и манерах синьоры.

Как мы сказали, в эту минуту она стояла у решетки, небрежно облокотившись на нее и сжав своими бескровными пальцами ее перекладины, и в упор глядела на Лючию, нерешительно подходившую к ней.

– Достопочтенная мать и сиятельнейшая синьора, – сказал настоятель, низко склонив голову и сложив руки на груди, – вот бедная девушка, которой вы, по моей просьбе, обещали свое высокое покровительство, а это ее мать.



Обе представленные отвешивали низкие поклоны. Движением руки синьора дала им понять, что довольно, и, обращаясь к монаху, сказала:

– Я счастлива, что могу сделать приятное нашим добрым друзьям, отцам капуцинам. Однако, – продолжала она, – расскажите мне несколько поподробнее историю этой девушки, чтобы стало ясно, что можно для нее сделать.

Лючия покраснела и опустила голову.

– Вы должны знать, достопочтенная мать... – начала было Аньезе, но настоятель взглядом прервал ее и отвечал:

– Сиятельнейшая синьора, девушку эту, как я уже вам сказал, поручил мне один из моих братьев. Чтобы избежать серьезных опасностей, она вынуждена была тайно покинуть родную деревню, и вот теперь она на время нуждается в убежище, где могла бы жить в неизвестности и где никто не дерзнет беспокоить ее, даже если...

– Что же это за опасности? – прервала его синьора. – Пожалуйста, отец настоятель, не говорите загадками. Вы ведь знаете, что мы, монахини, большие охотницы до всяких историй, да еще и со всеми подробностями.



– Опасности эти таковы, – отвечал настоятель, – что до слуха достопочтенной матери они должны дойти лишь в виде самых легких намеков...

– Да, конечно, – торопливо сказала синьора, слегка покраснев.

Стыдливость ли заговорила в ней? Тот, кто заметил бы мимолетное выражение досады, сопровождавшее этот румянец, мог бы усомниться в этом, тем более если бы он сравнил его с тем румянцем, который порой заливал щеки Лючии.

– Достаточно сказать, – продолжал настоятель, – что один всемогущий кавалер... – не все великие мира сего употребляют дары Божьи во славу Божию и на пользу ближнему, как это делает ваше сиятельство, – один всемогущий кавалер некоторое время преследовал эту девушку низменными обольщениями, а затем, видя бесполезность своих попыток, решил прибегнуть к открытому насилию, так что бедняжка принуждена была бежать из собственного дома.

– Приблизьтесь же ко мне вы, та, что помоложе, – сказала синьора Лючии, поманив ее пальцем. – Я знаю, что устами отца настоятеля глаголет истина, но ведь никто не может быть осведомлен в этом деле лучше вас. И ваша обязанность сказать нам, действительно ли этот кавалер оказался гнусным преследователем.

Что касается первого, то Лючия тут же повиновалась и приблизилась к синьоре, но ответить ей – это уж было совсем другое дело. Если бы такой вопрос задал ей даже кто-нибудь из своих, она и то бы сильно смутилась; когда же его поставила эта важная синьора, да при том еще с каким-то оттенком насмешливого сомнения, у Лючии сразу пропала всякая охота отвечать.

– Синьора... достопочтенная... мать... – лепетала она, словно ей нечего было больше сказать.

Тут уж Аньезе сочла себя вправе прийти ей на помощь, как несомненно наиболее осведомленная после самой Лючии.

– Сиятельнойшая синьора, – сказала она, – я могу подтвердить, что дочь моя боялась этого кавалера как черт ладана, то есть я хочу сказать, что этот кавалер – сам дьявол. Уж вы меня простите, если я нескладно говорю, мы ведь люди простые. Дело в том, что моя бедная девочка была просватана за одного парня нашего же звания, богобоязненного скромного парня. И будь наш синьор курато настоящим мужчиной, в том смысле, как я понимаю... я знаю, что говорю об особе духовной, но ведь падре Кристофоро, друг отца настоятеля, тоже особа духовная, как и наш курато, а он человек милосердный, и будь он здесь, он мог бы подтвердить...

– Вы горазды говорить, когда вас не спрашивают, – гордо и гневно прервала ее синьора, при этом она стала почти безобразной. – Молчите, я и без вас знаю, что родители всегда берутся давать ответы за своих детей.

Уязвленная Аньезе бросила на Лючию взгляд, говоривший: «Видишь, как мне достается из-за твоей медлительности». Настоятель, в свою очередь, выразительно взглянул на девушку и кивнул головой в знак того, что настало время как-нибудь выпутываться и не оставлять на мели бедную мать.

– Достопочтенная синьора, – промолвила Лючия, – все, что сказала вам моя мать, чистая правда. Юноша, который за мной ухаживал... – она густо покраснела при этих словах, – я за него шла с охотой. Простите, что я так беззастенчиво говорю об этом, но я не хочу, чтобы вы плохо подумали о моей матери. А насчет этого синьора (да простит ему Бог!)... да я готова лучше умереть, чем попасть ему в руки. И если вы будете столь милостивы и укроете нас, раз уж нам приходится идти на это и искать убежища и беспокоить добрых людей... – да будет, однако, во всем воля Господня!.. – так будьте уверены, синьора, никто не станет молиться за вас горячее нас, бедных женщин.

– Вам я верю, – сказала синьора смягчившимся голосом. – Но мне хочется выслушать вас с глазу на глаз. Не потому, разумеется, что мне нужны дальнейшие разъяснения или доводы, чтобы удовлетворить горячую просьбу отца настоятеля, – продолжала она, – об этом я уже подумала. Вот как, по-моему, лучше всего поступить на первое время. Монастырская привратница несколько дней тому назад выдала замуж свою последнюю дочь. Эти женщины могут занять освободившуюся после нее комнату и исполнять те несложные обязанности, которые исполняла она. По правде говоря... – тут она подала знак настоятелю, который подошел к решетке, и продолжала вполголоса: – По правде говоря, ввиду скудного урожая, хотели было никем не заменять ушедшую девушку, но я поговорю с матерью аббатисой, а одно мое слово... да к тому же усердная просьба отца настоятеля... Словом, я считаю дело улаженным...

Настоятель стал было благодарить, но синьора прервала его:

– Не надо никаких церемоний: случись нужда, я тоже сумею прибегнуть к поддержке отцов капуцинов. В конце концов, – продолжала она с улыбкой, в которой сквозила какая-то горькая насмешка, – в конце концов, разве мы не братья и сестры?

Сказав это, она позвала одну из двух послушниц, приставленных к ней в виде исключения для личных услуг, и приказала ей уведомить о своем решении аббатису, а потом договориться с привратницей и с Аньезе. Она отослала последнюю, отпустила настоятеля и задержала Лючию. Настоятель проводил Аньезе до ворот, дав ей попутно новые указания, а сам пошел писать уведомительное письмо своему другу Кристофоро.

«Большая чудачка эта синьора! – думал он про себя дорогой. – Любопытная особа! Но кто сумеет задеть ее за живое, может заставить ее сделать все, что угодно. Кристофоро, верно, и не ожидал, что мне удастся так быстро и ловко все устроить. Чудный он человек! Ничего с ним

не поделаешь – всегда-то он хлопочет, делая добрые дела. Хорошо, что на этот раз он нашел друга, который в мгновение ока все уладил, тихо и без особых хлопот. Добряк Кристофоро будет доволен и увидит, что и мы тут кое на что годимся».

Синьора, которая в присутствии бывалого капуцина взвешивала свои движения и слова, оставшись наедине с молоденькой неопытной крестьянкой, не считала более нужным сдерживаться, и речи ее мало-помалу стали настолько странными, что мы, вместо того чтобы приводить их, считаем более удобным кратко рассказать предшествующую историю несчастной, поскольку это необходимо для понимания всего необычайного и таинственного, связанного с ней, и для объяснения ее поведения в дальнейшем.

Она была младшей дочерью князя ***, известного миланского аристократа, который мог считаться одним из самых богатых людей в городе. Но высокое мнение, какое он имел о своем звании, делало в его глазах все его средства едва достаточными, даже скудными для поддержания блеска их древнего рода. Поэтому все его мысли были направлены к тому, чтобы попытаться, по крайней мере поскольку это зависело от него, сохранить эти средства такими, какими они были, – неделимыми на вечные времена. Сколько у него было детей, об этом наша история определенно не говорит: она лишь дает понять, что он обрекал на монашество младших детей обоего пола, чтобы оставить все состояние своему первенцу, предназначенному продолжать род, то есть народить детей, мучиться самому и мучить их тем же способом.

Наша несчастная была еще во чреве матери, когда ее судьба была бесповоротно решена. Оставалось только узнать, будет ли то монах или монахиня, для чего требовалось не согласие ребенка, а лишь появление его на свет. Когда девочка родилась, князь, ее отец, желая дать ей имя, которое непосредственно вызывало бы мысль о монастыре и которое носила святая именитого происхождения, назвал ее Гертрудой. Ее первыми игрушками были куклы, одетые монашенками, потом – маленькие изображения святых в монашеском же одеянии. Подарки эти всегда сопровождалась длинными увещаниями беречь их как драгоценность и риторическим вопросом: «Красиво ведь, а?» Когда князь, княгиня или князек – единственный из мальчиков, воспитывавшийся дома, – хотели похвалить цветущий вид девочки, они, казалось, не находили для этого других слов, кроме как: «Что за мать аббатиса!» Никто, однако, никогда не говорил прямо: «Ты должна стать монахиней». Это была мысль, сама собой разумеющаяся; ее затрагивали попутно, при всяком разговоре, касавшемся будущего девочки. Если Гертруда позволяла себе иногда какой-нибудь дерзкий и вызывающий поступок, к чему она по своей натуре была весьма склонна, ей говорили: «Ты – девочка, тебе не подобает вести себя так; когда станешь матерью аббатисой, тогда и будешь командовать и переворачивать все хоть вверх дном». Порой же князь, отчитывая дочь за слишком свободное и непринужденное поведение, над которым она не задумывалась, говорил ей: «Ох-ох! Девочке твоего звания не следует так вести себя; если ты хочешь, чтобы в свое время тебе оказывали подобающее уважение, учись смолоду владеть собой: помни, что в монастыре ты во всем должна быть первой, – ведь знатная кровь должна сказываться всюду».

Все это внушало девочке мысль, что ее удел – стать монахиней. Но слова отца оказывали на нее действие, которое было сильнее всяких иных слов. Князь во всем проявлял себя полномочным хозяином, а когда речь заходила о будущем положении его детей, в лице и в каждом слове его сквозила непоколебимая решимость и неумолимая суровая властность, производившая на окружающих впечатление роковой необходимости.

Шести лет Гертруду отдали на воспитание, вернее, для подготовки к призванию, на которое ее обрекли, – в монастырь, где мы ее встретили. Самое место выбрано было с определенным намерением. Добрый руководитель наших двух женщин сказал, что отец синьоры был первым человеком в Монце. Добавив это, какое ни на есть, свидетельство к некоторым другим указаниям, которые наш аноним как бы нечаянно роняет то тут, то там, мы можем даже утверждать, что он был местным феодалом. Во всяком случае, он пользовался огромным влиянием

и не без основания полагал, что там скорее, чем где-либо, дочь его будет принята с той отменной любезностью и утонченностью, которые побудят ее избрать этот монастырь местом своего постоянного пребывания. И он не ошибся: аббатиса и некоторые другие монахини-интриганки, которые, что называется, верховодили в монастыре, возликовали, увидя, что к ним в руки попадает залог покровительства, столь ценного при всяких обстоятельствах, столь славного в любое время. Они приняли предложение с изъявлениями благодарности, не чрезмерными, хотя и весьма выразительными, и полностью поддержали проскользнувшие у князя в разговоре планы насчет постоянного помещения дочери в монастырь, – планы эти полностью совпадали с их собственными.

Как только Гертруда вступила в монастырь, ее стали называть не по имени, а синьоринной. Ей отвели почетное место за столом, в спальне, ее поведение ставилось в образец другим; на долю ей выпадали бесконечные подарки и ласковое обращение, приправленное несколько почтительной фамильярностью, которая так привлекает детей к тем, кто у них на глазах относится к другим детям несколько свысока. Не то чтобы все монахини сговорились заманить бедняжку в сети: среди них было много простых женщин, далеких от всяких интриг. Даже сама мысль принести девушку в жертву каким-то корыстным целям вызвала бы у них отвращение. Но все они, поглощенные своими личными делами, либо не замечали всех этих уловок, либо не понимали, сколько в них таится зла. Одни просто не вникали в это дело, другие молчали, не желая затевать бесполезного шума. Иная из них, вспоминая, как и ее в свое время подобными же приемами довели до того, в чем она позднее раскаивалась, чувствовала сострадание к невинной бедняжке и находила выход своему чувству, оказывая ей нежную и грустную ласку, – а та и не подозревала, что под этим кроется какая-то тайна. И все продолжало идти своим чередом.



Так, пожалуй, все и шло бы до самого конца, если бы Гертруда была единственной девочкой в этом монастыре. Но среди ее подруг по воспитанию было несколько таких, которые знали, что им предстоит замужество. Гертруда, воспитанная в мыслях о своем превосходстве, с гордостью говорившая о своей будущей роли аббатисы, начальницы монастыря, во что бы то ни стало хотела быть предметом зависти для других и с удивлением и обидой видела, что некоторые из девочек нисколько ей не завидовали. Картинам величавого, но ограниченного и холодного

превосходства, какое могло обеспечить первенство в монастыре, они противопоставляли разнообразные и заманчивые картины свадеб, званых обедов, пирушек, – как выражались тогда – веселой жизни в поместьях, блестящих туалетов и экипажей. Эти рассказы будоражили Гертруду, как большая корзина только что собранных цветов, поставленная перед ульем, будоражит рой пчел: в голове у нее шумело, мозг лихорадочно работал. Родители и воспитатели усердно развивали в ней прирожденное тщеславие, желая заставить ее полюбить монастырь; но когда эта страсть нашла себе применение в представлениях более близких натуре девочки, она набросилась на них с увлечением гораздо более живым и непосредственным.

Чтобы не быть хуже своих подруг и вместе с тем следовать своей новой склонности, она отвечала подругам, что ведь, в конце концов, никто не вправе постричь ее без ее согласия; ведь и она может вступить в брак, поселиться во дворце, наслаждаться светской жизнью, и даже больше, чем они, и она может сделать это, стоит ей только захотеть, – а она, пожалуй, не прочь, – и, наконец, что она прямо-таки хочет этого, – да и в самом деле, она стала желать этого. Мысль о необходимости ее согласия, до той поры таившаяся где-то в дальнем уголке ее сознания, теперь развернулась и обнаружилась во всей своей полноте. Гертруда ежеминутно призывала ее на помощь, чтобы спокойнее наслаждаться образами заманчивого будущего. Однако за этой мыслью всегда появлялась другая: отказать в своем согласии нужно было князю-отцу, который уже заручился им или, во всяком случае, считал, что оно уже дано; и при этой мысли душа девушки была весьма далека от той уверенности, какую выражали ее слова. Тогда она начинала сравнивать себя с подругами, уверенность которых была несколько иной, и чувствовала к ним ту острую зависть, какую она первоначально сама хотела внушить им. Завидуя, она ненавидела их; порой ненависть ее изливалась в обидах, в резких выходках, в колких словах, порой общность наклонностей и надежд усыпляла эту ненависть, уступая место непрочной мимолетной близости. Иногда, желая насладиться хоть чем-нибудь подлинным и настоящим, Гертруда находила удовлетворение в тех преимуществах, которыми она пользовалась, и давала почувствовать другим свое превосходство. Иногда, не имея больше сил выносить в одиночестве тяжесть сомнений и несбыточных желаний, она шла к подругам, ища у них отклика, совета, поддержки.

В этой тяжелой борьбе с собой и с другими прошло ее детство, и она вступила в тот критический возраст, когда в душу входит как бы таинственная сила, которая поднимает, украшает, укрепляет все стремления, все мечты человека, а иногда даже преобразует их или дает им непредвиденное направление. Раньше Гертруда в грезах о будущем особенно ярко рисовала себе пышный блеск и великолепие; теперь же что-то трогательное и нежное, прежде лишь легким туманом окутывавшее душу девушки, стало разрастаться и заполнило ее мечты. В самом затаенном уголке ее сознания возникло словно какое-то великолепное убежище: сюда укрывалась она от окружающей действительности, здесь отводила место тем причудливым образам, что возникали из смутных воспоминаний детства, из того немногого, что она успела увидеть в мире, и того, что она узнала из разговоров с подругами. Она сжилась с этими образами, говорила с ними, отвечала себе от их имени, отдавала приказания и принимала всевозможные знаки уважения. Порой мысли о религии смущали эти блестящие и столь утомительные видения. Но религия в той форме, в какой ее преподносили нашей бедняжке и в какой она ее воспринимала, не устраняла гордыни, а, наоборот, скорее освящала ее как средство для достижения земного счастья. Лишенная тем самым своей сущности, это была уже не религия, а призрак, подобный другим. Когда этот призрак выступал вперед и воцарялся в мечтах Гертруды, злосчастная, одолеваемая неясным страхом и смутным сознанием своего долга, воображала, что ее отвращение к монастырю и борьба с внушением своих родителей относительно выбора призвания являются греховными, и давала себе обещание искупить этот грех, добровольно затворившись в монастыре.

Согласно тогдашнему закону, девушка не могла быть пострижена в монахини, пока она не подвергнется испытанию со стороны духовника, называвшегося викарием монахинь, или кого-либо другого, уполномоченного на это, чтобы не было сомнения в том, что она идет на это добровольно. Испытание это могло состояться не ранее как через год после того, как она письменно изложит викарию свою просьбу. Монахини, коварно взявшиеся добиться, чтобы Гертруда навсегда связала себя, не сознавая, что делает, воспользовались одним из моментов раскаяния, о которых мы говорили, чтобы заставить ее переписать и подписать подобную просьбу. А дабы легче склонить ее к этому, они не преминули сказать ей и неоднократно повторяли, что ведь это, в конце концов, простая формальность, не имеющая никакого значения (и это было на самом деле так) без последующих шагов, которые всецело зависят только от нее. Однако не успела еще просьба Гертруды дойти по назначению, как она уже пожалела о том, что подписала ее. Потом стала раскаиваться в своем отступничестве, проводя дни и месяцы в беспрестанной смене противоречивых настроений. Долгое время она скрывала это от подруг, то опасаясь, что они не одобряют ее благого намерения, то стыдясь признаться в своей слабости. В конце концов победило желание облегчить душу, получить у подруг совет и поддержку.



Существовал и другой закон, согласно которому девушка могла быть допущена к испытанию в своем призвании лишь после того, как она проведет по крайней мере месяц за пределами монастыря, где она воспитывалась. Прошел уже год со времени подачи ею просьбы, и Гертруду предупредили, что скоро ее возьмут из монастыря и отвезут в родительский дом, где она проведет этот месяц и выполнит все необходимое для завершения того, что она уже начала. Князь и остальные родственники считали это делом решенным, словно все уже свершилось; но в голове у девушки было совсем иное: вместо того чтобы готовиться к дальнейшим шагам, она раздумывала над тем, каким бы способом отступить назад. В таком затруднительном положении она решила открыться одной из своих подруг, наиболее прямодушной и всегда готовой дать решительный совет. Та и подсказала Гертруде мысль письменно уведомить отца о своем новом решении, раз у нее не хватает духу открыто бросить ему в лицо дерзкое «не хочу». А так как бесплатный совет – на этом свете вещь крайне редкая, то и Гертруде пришлось расплачиваться за него, выслушивая бесконечные насмешки за проявленное малодушие. Письмо было обдуманно в обществе четырех-пяти наиболее близких подруг, написано

в большой тайне и доставлено по назначению с помощью чрезвычайно обдуманых ухищрений. Гертруда пребывала в большом волнении, ожидая ответа, но его не последовало, если не считать того, что несколько дней спустя аббатиса вызвала ее в свою келью и, не скрывая своего презрения и сострадания, с таинственностью намекнула ей о великом гневе князя и об ошибке, которую она, по-видимому, совершила, но дала понять, что в дальнейшем, при хорошем поведении, она может надеяться на полное прощение. Девушка и не посмела спрашивать дальше.

Наконец пришел этот столь страшный и столь желанный день. Хотя Гертруда знала, что она идет на бой, все же возможность покинуть монастырь, эти стены, в которых она была заключена восемь лет, проехаться в экипаже по открытым полям, вновь увидеть город, отчий дом – все это наполняло ее ощущением шумной радости. Что касается боя, то бедняжка, по наущению своих наперсниц, уже приняла меры и, как сказали бы ныне, составила план действий. «Либо они захотят принудить меня силой, – думала она, – тогда я буду твердо стоять на своем, буду смиренна, почтительна, но не дам своего согласия; все дело в том, чтобы второй раз не сказать „да“, и я не скажу. Либо они станут уговаривать меня добром, – но я буду добрее их, стану плакать, умолять, вызову в них сострадание; в конце концов я ведь хочу только одного: чтобы меня не приносили в жертву».

Но, как часто бывает с подобными предположениями, не произошло ни того ни другого. Дни проходили, но ни отец, ни другие ничего не говорили ни о просьбе, ею поданной, ни об отказе от нее и не делали ей никаких предложений ни в ласковой, ни в угрожающей форме. Родные обращались с ней сурово, были печальны и ворчали, никогда не говоря почему. Чувствовалось лишь, что они смотрели на нее как на виноватую, недостойную. Казалось, какое-то таинственное отлучение лежало на Гертруде, отделяя ее от семьи и объединяя ее с родными лишь постольку, поскольку надо было дать ей почувствовать ее зависимость. Редко и только в определенные часы допускали ее в общество родителей и старшего брата. Между этими тремя, казалось, царил большая близость, которая делала еще чувствительнее и горестнее ту заброшенность, в какой была оставлена Гертруда. Никто не заговаривал с ней, а если она робко решалась сказать что-либо выходящее за пределы необходимого, она ни в ком не встречала поддержки и лишь ловила в ответ взгляд рассеянный, презрительный и строгий. Когда же она, не в силах выносить дольше эту горькую и унижительную отчужденность, пыталась во что бы то ни стало стать близкой своим и умоляла хоть о капле любви – немедленно затрагивалась, косвенно или открыто, все та же тема о выборе призвания, причем ей давалось понять, что есть средство вернуть себе привязанность родных. И Гертруда, не соглашаясь на эти условия, вынуждена была снова уходить в себя и, отвергая робкие признаки расположения, которых она так жаждала, возвращаться к своему прежнему положению отлученной. Вдобавок на ней продолжало лежать пятно какой-то вины.

Эти впечатления от окружающего являлись печальной противоположностью тем радужным видениям, которыми так давно жила и все еще продолжала жить Гертруда в тайниках своей души. Она надеялась, что в великолепном и многолюдном отцовском доме ей удастся пережить наяву хоть малую долю того, что она себе воображала, – но она обманулась решительно во всем. Ее затворничество было строгим и полным, как в монастыре; о прогулках не заходило даже речи, а небольшой переход, непосредственно соединявший дом с примыкающей к нему церковью, устранял единственный повод выходить за пределы дома. Общество было еще скучнее, малочисленнее и однообразнее, чем в монастыре. Когда докладывали о приезде гостей, Гертруду отправляли на самый верхний этаж, где оставляли взаперти с несколькими старухами из прислуги; там же она и обедала, если гости еще не расходились. Слуги в обращении и в разговорах следовали примеру и намерениям своих господ, и Гертруда, которая склонна была обращаться с ними с благородной простотой и в своем печальном положении была бы бесконечно благодарна за малейшее проявление хорошего отношения к ней как к рав-

ной, доходила даже до заискивания, но в конце концов испытывала лишь унижение и горечь, видя, что к ней относились с явным пренебрежением, хотя и сопровождаемым чисто внешним послушанием.

Однако она не могла не заметить, что один паж, в отличие от прочих, проявлял к ней сочувствие и уважение особого рода. В поведении этого мальчика было что-то напоминавшее ей жизнь, которую она так часто видела в своих мечтах, черты, которые она придавала выдуманным ею образам. Мало-помалу во всей повадке девушки обнаружилось что-то новое: умиротворенность и какое-то томление, столь не похожие на прежнее настроение, словно она нашла нечто такое, что ей дорого, что ей хотелось бы ежечасно лицезреть, не давая, однако, заметить это другим. За ней стали следить еще строже. И однажды в одно прекрасное утро одна из служанок застала ее в то мгновение, когда она торопливо складывала листок бумаги. Лучше бы она этого никогда не делала! После короткой борьбы, когда каждая тянула записку к себе, она попала в руки служанки, а от нее – к князю.



Ужас Гертруды при звуке его шагов нельзя ни вообразить, ни описать – ведь это был ее отец, разгневанный отец, а она чувствовала себя виноватой. Когда же он появился, хмурый, со злосчастной запиской в руках, она готова была провалиться на сто локтей в преисподнюю, не только что уйти в монастырь. Не много сказано было слов, но они были ужасны: наказание, тут же наложенное, состояло в том, что ее заперли все в ту же комнату, под надзор той самой женщины, которая все раскрыла; но это было лишь началом, предварительной мерой, ей угрожало другое возмездие, что-то таинственное и поэтому более страшное.

Пажа, само собой разумеется, немедленно выгнали. Ему тоже пригрозили чем-то ужасным, если он хоть когда-нибудь осмелится заикнуться о происшедшем. Делая это внушение, князь влепил ему две здоровенные пощечины, дабы сопроводить происшествие таким воспоминанием, которое отбило бы у юнца всякую охоту хвастаться им. Найти какой-нибудь пред-

лог, чтобы оправдать увольнение пажа, было не трудно; что же касается дочери, то говорили просто, что она занемогла.

Итак, на долю Гертруды достались стыд, угрызения совести, страх за будущее и общество ненавистной ей женщины, живой свидетельницы ее проступка и виновницы немилости. Да и та тоже ненавидела Гертруду, из-за которой она на неизвестное время была обречена на нудную жизнь тюремщицы, сделавшись к тому же на всю жизнь хранительницей опасной тайны.

Первая тревога и смятение чувств мало-помалу улеглись. Но затем они поочередно воскресали в душе Гертруды, разрастались и неотступно мучительно терзали ее.

Что же это за возмездие, которым так загадочно угрожали ей? Множество разнообразных и странных наказаний рисовалось пламенному и неопытному воображению Гертруды. Наиболее вероятным казалось ей возвращение в Монцкий монастырь, вторичное водворение в нем, но уже не на положении синьорины, а в роли провинившейся, заключенной там бог весть на какой срок и в каких условиях. Думая об этой возможности, уже самой по себе столь мучительной, она, пожалуй, больше всего боялась неизбежного позора.

Отдельные фразы, слова, запятые злополучного письма неотступно преследовали ее: она воображала себе, как вглядывается в них, как взвешивает их непредусмотренный читатель, столь непохожий на того, кому они предназначались; она представляла себе, что они могли попасться на глаза также матери или брату, да мало ли еще кому. И в сравнении с этим все остальное казалось ей чепухой. Образ того, кто был источником ее позора, также нередко являлся тревожить бедную заключенную. И подумайте, сколь причудливым должен был казаться этот призрак среди других, столь отличных от него, – суровых, холодных, грозных. Но именно потому, что она не могла ни отделить его от них, ни хотя бы на мгновение обратиться к прежним мимолетным радостям без того, чтобы всякий раз тут же не вставали перед нею ее настоящие страдания, – она мало-помалу стала реже возвращаться к этим образам, отталкивая от себя самое воспоминание о них, отвыкая от них. Гертруда уже не отдавалась, как прежде, подолгу и с охотой своим веселым и блестящим мечтаньям: слишком уж были непохожи они на настоящее и уготованное ей будущее. Единственной твердыней, какую Гертруда могла представить себе, убежищем спокойным и почетным – и притом не призрачным, – оставался монастырь, прими она решение вступить в него навсегда. Она ни минуты не сомневалась, что это уладило бы все, принесло бы ей прощение и сразу же изменило бы ее положение. Против такого намерения восставала, правда, мечта всей ее жизни, но времена изменились; и в той бездне, где оказалась Гертруда, по сравнению с тем, чего она опасалась в иные минуты, положение монахини, окруженной уважением и почетом, которой все послушны, казалось ей прямо сладостным.



К тому же два совершенно различных чувства смягчали временами ее давнее отвращение к монастырю: порой – мучительное сознание своей вины и мечтательно-нежная набожность, порой – гордость, уязвленная и страдавшая от обращения ее тюремщицы, которая (сказать по правде, нередко вызванная на это самой Гертрудой) в отместку то запугивала ее грозной расплатой, то стыдила за совершенный проступок, а затем, желая проявить благосклонность, впадала в покровительственный тон, что было для Гертруды ненавистнее всякого оскорбления. В таких обстоятельствах желание Гертруды вырваться из когтей своей мучительницы и занять положение, которое поставило бы ее выше и гнева, и сострадания последней, – это привычное желание становилось настолько сильным и острым, что девушке казалось милым все, что только могло привести его в исполнение.

По прошествии четырех-пяти долгих дней плена, как-то утром, раздраженная сверх всякой меры оскорбительной выходкой своей тюремщицы, Гертруда забилась в дальний угол комнаты и там, закрыв лицо руками, некоторое время старалась молча подавить свое бешенство. Она почувствовала безмерную потребность увидеть другие лица, услышать другие слова, испытать другое обращение. Девушка подумала было об отце, о семье, но мысль ее в ужасе отшатнулась от них. Однако ей пришло в голову, что ведь от нее самой зависело сделать их своими друзьями, и она ощутила неожиданную радость. А вслед за ней – смущение, необычайное раскаяние в своей вине и столь же сильное желание искупить ее. Не то чтобы ее решение было окончательным, но никогда еще она не отдавалась этим мыслям с таким пылом. Она встала, подошла к столику, взяла то самое роковое перо и написала отцу вдохновенное письмо, полное сожаления, скорби и надежды, умоляя о прощении и уверяя в своей беспредельной готовности ко всему, чего пожелает тот, от кого это прощение зависело.



Глава десятая



Бывают мгновения, когда душа, особенно душа людей молодых, настроена так, что при малейшей настойчивости от нее можно добиться всего, что имеет видимость добра и жертвы, – так едва распустившийся цветок мягко нежится на хрупком своем стебле, готовый отдать свой аромат первому дуновению ветерка, который повеет на него. Такие мгновения должны были бы вызывать у всех благоговейное и робкое удивление, но обычно корыстное коварство внимательно подстерегает их и ловит на лету, чтобы тем самым связать волю, не умеющую уберечься.

Читая письмо Гертруды, князь сразу увидел, что открывается путь к осуществлению его давних и упорных стремлений. Он велел сказать дочери, чтобы она пришла к нему, и, поджидая ее, решил ковать железо, пока горячо. Гертруда появилась и, не поднимая глаз на отца, бросилась пред ним на колени, с трудом вымолвив лишь: «Простите». Он подал ей знак подняться и голосом, вряд ли способным приободрить дочь, сказал ей, что недостаточно желать

или просить прощения, – это слишком просто и вполне естественно для всякого, кто совершил проступок и боится возмездия за него. Одним словом, он заявил, что прощение надо заслужить. Гертруда, вся дрожа, робко спросила, что же ей надо сделать. Князь (язык не повернется назвать его здесь отцом) не ответил прямо, а начал распространяться по поводу виновности Гертруды, и слова его терзали душу бедняжки, как прикосновение грубой руки к открытой ране. Он продолжал высказываться в том смысле, что если даже... если когда-нибудь прежде у него и было намерение устроить ее в миру, то она сама положила этому непреодолимое препятствие, ведь у благородного человека, каким он является, никогда не хватило бы духу предложить дворянину в жены синьорину, которая показала себя с такой стороны.

Несчастливая слушала, вконец уничтоженная. Тогда князь, постепенно смягчая и тон, и выражения, заговорил о том, что всякая вина все же исправима; ее же вина – из тех, искупление за которые предуказано вполне ясно. В этом злосчастном случае она должна видеть как бы предупреждение, что мирская жизнь слишком полна для нее всяких опасностей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.